

# ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

## 1

Если б знать, к чему это приведет...

И тем не менее, прекрасно понимая, что поздно, что ничего не вернуть, что следственная машина набрала обороты, как утопающий за соломинку, Павел судорожно цеплялся то за неработающую в действительности статью Конституции, то за положение какой-то международной конвенции, то за не менее призрачную надежду получить поддержку из-за рубежа, а то и вовсе съезжал с катушек, принимаясь моделировать события последних лет, начиная с того дня, когда стал писать эти несчастные письма, шокировать родных и близких откровенными разговорами, а в довершение ко всему написал и привёз на творческий семинар роман на непроходимую тему и даже попытался переправить его за границу. Предупреждал же его Трофим: «Тарасов, подумай о семье, о Насте! Если не прекратишь, на тебя наедет на улице грузовик». Да ему что! Возражал, будут родственниками мученика... и потом, разве молчанием не предаётся Бог?

И, что называется, договорился. Вот она, повестка, на руках. Ему надлежало завтра, в пятницу, 25 октября сего 1985 года, явиться к 14:00 в здание Автозаводского военкомата в комнату № 416. А почему в военкомат, а не прямо в КГБ, и гадать нечего: товарищи-комитетчики предприняли хитрый ход по усыплению бдительности. Прибудет ничего не подозревающий старший сержант запаса в военкомат, думая, что на очередную переподготовку или для уточнения биографических данных вызывают, а его сразу в оборот: что вы можете сказать по этому поводу... а это чем можете объяснить?..

Приди повестка на день раньше, ни о каких происках вездесущего КГБ он бы и не подумал, но вчера, в двенадцатом часу ночи, прибежала всполошенная Мариша и сказала, что они уже легли спать, когда позволила дежурившая на коммутаторе Настя и попросила срочно сообщить, чтобы он стрелой летел к ней, что стряслось, не знает, Настя по телефону говорить не стала и до его возвращения осталась с детьми, которых он уложил, а сам работал над дипломной повестью. Жили они уже не в барачной двухэтажке, а в трёхкомнатной малогабаритке, полученной

---

\* Окончание. Начало в № 40, 2013.

в октябре 83-го в новой блочной пятиэтажке только потому, что Настя была на шестом месяце беременности, тяжело, с большой потерей крови разрешившись наконец третьего января 84-го Любашей.

Настя встретила до смерти перепуганным взглядом. И первое время только и делала, что выплескивала запоздалые поправки, вдобавок ко всему рассопливилась, даже договорилась, правильно, видимо, ей нагадали — быть ей вдовой. Короче, бред. И только после того как он рывкнул, сначала разозлилась, не хотела разговаривать вообще, но буквально через пару минут сначала с резкими выпадами, а потом спокойнее стала рассказывать, что первым позвонил Щёкин и поинтересовался, не вызывают ли Павла в КГБ, и когда Настя ответила, нет, а вызвали, мол, в военкомат, сказал, а ему сегодня через молоденького участкового передали повестку, «какую-то паршивую бумажку без печати, с непонятной закорючкой вместо подписи», когда же спросил, «что это за филькина грамота», участковый, испытывая явное неудобство, ответил, что его попросили, а сам он ничего не знает. А до этого три дня донимали по телефону, на повышенных тонах требуя немедленно прибыть на Лубянку. Завтра пойдут с отцом, тот всё-таки инвалид войны, орденосец, мало ли что, они же не говорят, по какому поводу вызывают, вот он и обзванивает всех знакомых, может, кто уже был, так заранее выяснить, в чём дело. А каким образом узнал, что Настя дежурит, так ещё днём звонил и ему сказали, что она будет в ночную смену. Настя и не подумала бы тревожить по такому пустяку Маришу и дождалась утра (выдумщика Щёкина она знала как свои пять пальцев), кабы буквально через десять минут не позвонил с переговорного из Ижевска Даня Чардымов и не сообщила, что сам был сегодня на допросе, и велел передать, чтобы Павел как можно быстрее уничтожил всё.

— Что? — по инерции спросил Павел.

— Сказал, ты знаешь, а больше ничего говорить не стал. Остальное, сказал, при встрече.

Но Павел уже догадался, а также — о том, что и его вызывают не в военкомат: военкомовские повестки были иными, и вызывали обычно на второй этаж, а тут на четвёртый, да ещё в конкретную комнату. И полезла в голову всякая муть. А тут ещё Настя... ну просто убила:

— Тебя не завербовали?

И столько страха и надежды на ошибку изобразилось в её напуганных до смерти глазах. Он даже не нашёл, что на это ответить, покрутил пальцем у виска и, ни слова не говоря, направился к выходу.

— Ты куда?

На мгновение задержавшись на пороге, усмехнулся:

— Глупый вопрос: рацию закапывать и шифры уничтожать.

— Я серьёзно!

— И я не шучу. Так что не теряй времени, звони куда следует, пока не скрылся — орден дадут. — И чувствительно хлопнул за собой дверь.

Нашла шпиона! До самого дома не мог успокоиться, однако перед входом в подъезд сказал себе решительно: «Всё, хватит с ума сходить, думай. Сказать сестре или не сказать?» И решил всё-таки сказать, а вдруг и родственников допрашивать возьмутся. И эту чуть не до смерти перепугал.

— Да вы что, в самом деле, сговорились, что ли? Ещё раз тебе повторяю: понятия не имею, по какому поводу вызывают!

Но это было не так. На что намекал Даня, он понял сразу. Но лишь после того как ушла Мариша, складывая в стопы ксерокопии «шпионских книг и бумаг», которые решил всё-таки не уничтожать, а спрятать в родительском сарае, где после свадьбы откармливали с Настей поросят — в свинарнике, поди, копать не станут, — постепенно дошло до него, что взяли их в разработку скорее всего из-за Щёкина, который сначала из-за женитьбы на американке, а потом из-за того что склонил к «религиозному мракобесию» пол-Москвы, давно уже был на заметке

КГБ. А при мысли, что в квартире Романа, общежитии, «Морозовском особняке», у соседней могла стоять прослушка, аж передёрнуло. А ещё припомнилось и сразу стало понятным, почему приходившие от Дани, Мити, Трофима письма были заклеены бесцветным конторским клеем. И когда всё это взвесил, подумал, а ведь и впрямь влип. А если ещё принять к сведению, что происходило всё это на фоне крупных уголовных процессов по поводу гигантских хищений государственной собственности директорами торгов, ювелирных, рыбных и меховых магазинов, так вообще... Не остановилась набравшая обороты следственная машина и после смерти Андропова, с санкции нового генсека Черненко вскрывшая факты немыслимых по размерам хищений в Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Грузии, Армении, Азербайджане...

Но, с другой стороны, если хорошенько взвесить, рядом с акулами теневой экономики какую опасность могла представлять горстка задумавшихся о смысле жизни студентов, самодеятельного композитора, сторожа «Морозовского особняка», слесаря самарской котельной и затесавшегося в эту нищую компанию, слава Богу, успевшего окончить духовную академию и принять сан, простого сельского священника? При желании можно было завести бредень и пошире, будь на дворе, скажем, тридцать седьмой год или даже «хрущёвская оттепель», но в дохнувшем надеждой в лице полгода назад избранного в генсеки молодого по сравнению с остальным домом престарелых Горбачёва восемьдесят пятом...

Более всего, конечно, зацепили тогда его, ещё не устоявшегося в вере, книги Василия Васильевича Розанова, весьма оригинальные по изложению, порою едкие, даже ехидные, но всегда глубокие по мысли и важности поднимаемых проблем.

Да что — зацепили?

Если человек и в самом деле малый космос, испытание это было подобном вселенской катастрофе и не замедлило сказаться на самой жизни, поскольку только первое время всё, связанное «со старым добрым православием», как выразился Иннокентий, Павел принимал за чистую монету и непреложную истину, всего лишь попираемую врагами извне, пока не узнал от того же Розанова, что проблемы, как и враги, гнездились внутри самого православия. Впрочем, задумался он об этом сразу же после разговора с Иннокентием, и разве что благодать, действие которой с такою силою испытал после причастия, на время приоткрыла остроту проблемы.

И потом, ладно бы только это наивное неофитство, которым заразился от дьякона же («Не та теперь Церковь!», «Сообща путь тайне беззакония выстилаем!»), он по примеру Мокия Федуловича, не без помощи Розанова, разумеется, умудрился спроецировать всё это на государственное устройство, о чём вёл речи у Щёкиных, в общежитии Литинститута, «Морозовском особняке», излагал в письмах сначала дьякону, а затем отцу Петру, Трофиму, Мите, Дане, донимал вопросами молчаливого Николая Николаевича, осторожничающего из-за наличия партийного билета Игоря Тимофеева и даже ввёл в содержание романа «Сибирячка». И если всё это изложить в определённой последовательности, действительно было отчего ёжиться.

И ведь, как нарочно, только он от одного удара судьбы (от разгрома на творческом семинаре романа) встать на ноги начал, а тут ещё этот, так что неизвестно, который окажется потяжелее. Оттуда, всё говорят, не возвращаются. Увели, вызвали — и с концами. Ну а чего бы так всполошились Щёкин, Даня? Уж не дедушкина ли ожидает его судьба?

## 2

Выставив в коридор стопу увязанных шпагатом запрещённых Верховным судом СССР книг и бумаг, с конспектами тех же книг, Павел тяжело вздохнул: «Да, но тогда разве можно было об этом подумать?»

В самом деле. После примирения жизнь их потекла как в мудрой словосице, которую Настя озвучила во время посещения их прежнего убогого жилища Николаем Николаевичем с семейством: куда иголочка, туда и ниточка. Желанная беременность, регулярные посещения служб, чтение «Библии», несмотря на болезнь, пунктуальное соблюдение постов, работа с дореволюционными изданиями и, наконец, деревня...

Дом приобрели в той самой деревушке, «откуда как на ладони были видны купола деревянной церкви», «в которой Петю в младенчестве крестили», и первое лето Настя всего лишь наезжала между дежурствами на коммутаторе, зато второе, когда он уволился из пожарки и подрядился пастухом в соседнем селе, а Настя была в отпуске по уходу за ребёнком, провели вместе от звонка до звонка.

Парились в бане, питались целебным козьим молоком, творогом, сметаной, лакомились ежевикой, клубникой, красной и чёрной смородиной, крыжовником, малиной, вишней, сливой, яблоками из собственного сада. Наварили варенья, накрутили компотов, насолили огурцов, помидоров. Вместо чая заваривали в доставшемся вместе с домом настоящим тульском самоваре зверобой, душицу, листья смородины. Пили носимую из-под горы воду из заповедного ключа.

За это время у них перебивали и вместе и порознь Калиновские, Щёкины, Чардымовы, Чирвы, удостоил посещением после иерейской хиротонии отец Пётр, наведаясь с литературными скорбями Игорь Тимофеев, тяготившийся нелюбимой работой, о том лишь и мечтавший, кабы поскорее свалить на вольные писательские хлеба. Но до этого было ещё далеко, а пока он предпринимал попытки поступить в Литературный институт, во второй год проваливал экзамены и после каждой очередной неудачи приезжал к сподвижнику по цеху задорному отвести душу.

И если подслушать то, о чём велись речи на крыльчке по вечерам, на кухне за самоваром в дождливую погоду, во время прогулок по обезлюдившей деревне, по дороге в церковь, в пастушеские полдни, действительно было бы что предъявить, но заходящее за горизонт солнце, звёздное небо, луга и поля умели хранить и не такие тайны.

Что относительно дома, Вера Ивановна, Петина мать, даже обрадовалась, когда узнала, что попадёт не в чужие руки. Оказалось хозяйство с пятистенным домом, крепким, ухоженным, с крытым двором, сенями, чуланом, с огромным садом, банькой, огородом за ней, после смерти Елизаветы Матвеевны засеваемым красным клевером, с отдельно стоявшей напротив фасада кладовой из красного кирпича, и по цене сходным, и церковь неподалёку. Если напрямик, через луга, километра три, не больше, а вот через трассу — пять. Словом, устраивало всё, и только место поначалу не глянулось: на вершине холма и вокруг такие же обезлесенные холмистые пространства. Кроме обычных садовых деревьев, скучала кое-где сирень да буйствовала по оврагам верба. Больше всего в ухоженных и заброшенных садах было вишни, казалось, не было места, где бы она не росла. И когда всё это великолепие зацвело, Павел в эту захиревшую деревушку влюбился.

Правда, произошло это потом, а вот начало Страстной было омрачено болезнью Насти — угораздило бедняжку попасть в больницу с сильным гайморитом. Даже пришлось делать проколы. И когда на лице жены появились лихо завернутые кверху усики из прозрачных трубочек, приклеенных к щекам лейкопластырем, общаясь через зарешеченное окно первого этажа, Павел едва сдерживал улыбку. Когда же выяснилось, что до Пасхи не выпишут, Настя пролила море слёз — так ей хотелось вместе с ним в церковь. Увы, пришлось отправиться на родительском москвиче одному. Дашу отвёл на ночь к Марише.

Это была его первая Пасха.

По пути в церковь случилась неприятность — неожиданно сбил выскочившую из темноты под колёса собаку и весь оставшийся путь переживал: «В такую-то ночь!»

Машину оставил у того самого дома, где с Настей гуляли на свадьбе Серёжки Кашадова. Серёжка с Лялькой жили в пристрое, который успели соорудить до определения посёлка под снос — автогигант неторопливо, но планомерно расширялся.

Узнав о причине парковки, Лялька сочувственно вздохнула. Серёжка дипломатично поинтересовался:

— Заглянешь после службы?

— В такую рань? Не-э. Как-нибудь в другой раз.

И тогда Лялька обронила в виде родственного предупреждения:

— Ну-ну, смотри...

Вокруг оцепленного милицией храма собралось столько праздной, а то и просто пьяной да ещё с хрипящими переносными магнитофонами молодёжи, что Павел едва пробился внутрь. Сначала дорогу преградила милиция, но он сказал, что верующий, и его пропустили. Затем на пути встала плотная стена богомольцев, но он всё-таки протиснулся в трапезную. И надо было там остаться, многие так и сделали, а он следом за хоругвеносцами, священством и певчими вышел с зажжённой свечой на крестный ход. Выйти-то вышел, да назад едва угодил, поскольку вместе с крестным ходом в церковь хлынула пьяная особь.

В дело вмешалась милиция. Народ заволновался. Кто-то потребовал от милиционеров снять фуражки, и те мгновенно исполнили. Но кто-то возразил, что это не головные уборы, а форма. Завязался спор. На спорщиков зашумели, дескать, вам тут не базар. И тогда начался самый настоящий базар.

Однако порядок постепенно восстановился, а через час вообще стало свободно: значительная часть, поглазев, ушла.

Хоры меж тем слаженно пели. Что именно, Павел не понимал, и только когда священник в сопровождении дьякона с огромной красной свечой, украшенной бантом из красной же ленты, выходя через Царские врата на амвон, возглашал: «Христос воскресе!», бездумно-радостно откликался вместе со всеми: «Воистину воскресе!»

И так в непрерывном движении до конца Светлой заутрени.

Затем была Литургия, не такая стремительная, но не менее торжественная.

Как и Заутреня, совершалась она при открытых Царских вратах.

И когда наконец двинулись к кресту и кроплению святой водой, кто с открытыми котомками, сумками или небольшими корзинками, в которых лежали куличи, украшенные шоколадными буквами «Х. В.» творожные «паски», разноцветные яйца, а кто просто с поднятыми вверх крашеными яйцами, Павел следом за хором повторял и повторял раз и навсегда зацепившееся в памяти:

«Христо-ос воскресе из ме-эртвых, смертью смерть попра-ав, и суущим во гробе-эж живо-от дарова-ав».

На улице ещё царила ночь. Законопослушно молчали колокола. Спала глубоким сном обречённая к сносу Карповка.

Пока шагал тёмной улицей, заводил машину, выезжал на проезжую часть, катил по спящему городу, как бывало в тайге, сначала в чёрно-белом цвете, а затем совсем рассвело.

Больница ещё спала. Но Павел всё-таки достучался. И когда Настя, укутавшись одеялом, приоткрыла окно, радостно выдал:

— Христос воскресе!

— Тише ты! Людей разбудишь. — И с подавляемой зевотой прибавила потихоньку: — Воистину воскрес. Со службы?

Павел кивнул.

— Устал?

— Немного.

— Как Даша?

— Нормально.

— Домой?

— Нет. Дом смотреть.

На Странной, как собирался вначале, из-за болезни Насти ни в Лавру, ни дом глянуть съездить не удалось, а сегодня выходной, да ещё праздник, глядишь, и с пастушеством повезёт.

Если и повезло, то не очень, хотя на всякий случай подрядился в одной из дальних деревушек всего за триста рублей да ещё без харчей, выговорив всего лишь по ведру картошки с череда по окончании сезона. И это понятно: хорошие стада застолбили с зимы и первого мая уже выгнали, хотя свежей травы вокруг ещё не наблюдалось.

По правде сказать, не особо и торговался, будучи уверен, что на такие условия Каиновские вряд ли согласятся. А они не только с радостью приняли предложение, но и Щёкиных вкусить библейских прелестей уговорили.

«Да это же настоящее дворянское гнездо!» — осмотрев хозяйство, с восхищением выдал Трофим.

И все сразу согласились.

И то сказать, начитавшись Толстого, Тургенева, Аксакова, Маша с Аней и в самом деле немножко вообразили себя дворянками, даже сшили длинные ситцевые юбки себе и детям, приобрели соломенные шляпки, только прислуги и недоставало. А хлопот с четырёхлетними Дашей, Леной, двухгодовалой Лизой и тремя голодными пастухами было предостаточно. Сготовить, накормить, помыть посуду, прокипятить в печке-прачке бельё, сносить в корзине под гору, чтобы прополоскать в специальной колоде, по которой бежала из-под горы ледяная вода, затем всё это поднять наверх, развесить, когда высохнет, снять, погладить, сложить, прибраться на кухне, в доме, натаскать при помощи коромысла из старенького скрипучего колодца воды для бани. Для городских да ещё с дворянскими наклонностями мам это оказалось занятием не из лёгких.

Но больше всех досталось Насте. Беременная да ещё с надорванным на совхозном току сердцем, она каждую неделю чалила из совхоза на автобусах, с двумя пересадками, тяжеленные сумки с продуктами, купить которые даже на центральной усадьбе не представлялось возможности, да что на центральной, и в городских магазинах не купить того, что добывала она в общепитовской столовой, куда после женитьбы перешёл из своего престижного ресторана заведующим Игорь Тимофеев. Но даже когда приезжала, в первую очередь беспокойно ощупывала с ног до головы Дашу, справлялась о её здоровье, как ест, как спит, с полчаса, по собственному выражению, бездельничала, сидя за самоваром, с удовольствием уплетая, в зависимости от сезона, толченые с сахаром клубнику, смородину, малину или крыжовник, и, не обращая внимания на протесты, тут же впрягалась в работу по стирке, глажке, приготовлению еды, а вечером в такой же длинной ситцевой юбке шла вместе со всеми встречать своего пастушка.

Боже, как она его жалела! Какими глазами смотрела, когда, утомлённый от пастушества, от семикилометровой ходьбы, он приближался к ней в тяжёлых резиновых сапогах, с полевой сумкой на плече, через ремень которой была перекинута офицерская плащ-палатка!

Сдержанно улыбаясь, Павел целовал жену, расспрашивал о новостях.

И тогда, внутренне сияя от счастья и в то же время скорбя от сострадания, она начинала говорить, говорить, порою и сама не понимая, зачем всё это говорит, но остановиться не могла.

Когда же он вместе со всеми присаживался на крыльцо и, с трудом стаскивая сапоги, разматывал мокрые от пота портянки, она просто вводила его в конфуз, принося таз с холодной водой, чтобы он подержал в ней гудевшие от усталости ноги. И сколько бы ни противился, не уступала. Ну, и какое сердце такому напору чувств смогло бы противостоять?

В начале пастушества, правда, случилось несчастье: умерла бабушка Фрося. Отошла на Фоминой неделе, тихо, никого не обременив, накануне-

не смерти как бы нечаянно забыв накинуть на дверь крючок. В девятом часу заглянула соседка, удивилась, что подружка её «до се в постели валяется, не прихворнула ли, окликнула — молчок, подошла, а она уж и с душой распрощалась». Тут же всех оповестила. Как и полагается, в первую очередь позвали участкового врача, чтобы получить справку о смерти. Старушек в морг не возили. Усопшую обмыли, одели, уложили в изготовленный в совхозной стройгруппе гроб, затеплили лампадку перед бумажной, в бумажных же цветах, иконой, зажгли загодя припасённые, воткнутые в стаканы с солью самодельные восковые свечи, наладили чтение Псалтири. Гробы, могильщиков, машину работникам совхоза выделяли бесплатно, однако обычным угощением не обносили никого.

Похороны совпали с Радоницей, и на этот счёт старушки были единодушного мнения о богоугодности бабушкиной души. Не по одному разу помянули: «Экую ораву на ноги поставила!» Да ещё в голод, в войну, в тяжёлое послевоенное время. В совхоз перебрались только в сорок девятом. И хрущёвской оттепели были благодарны уже за то, что сняла с семьи клеймо детей врага народа. Теперь только учись. И двое сразу поступили в институты, одна в техникум, четверо в партию. До выхода на пенсию бабушка трудилась в совхозной столовой посудомойкой, потом подрабатывала летом в поле, в саду, зимой — в хранилище на чистке капусты, сортировке картошки.

Всё это Павел прекрасно помнил, в том числе и столовую, в которой до окончания бухгалтерского техникума работала поваром мать и куда всё лето ходили они через заднюю дверь обедать с Аркашей, Серёжкой и Славкой.

Бывали они с бабушкой и на прополке свеклы, и на сборе крыжовника.

Уж этот крыжовник! Из-за колючек у них с Аркашей вспухали пальцы (хитропопые Славка с Серёжкой на время прополки свеклы и сбора крыжовник смывались на свой Автозавод), а бабушке хоть бы что. Её беспокоила только норма. И в то время когда они с Аркашей, исколов все пальцы, набирали по трёхлитровому бидону, бабушка — целую корзину. Обхватит рукой колючий стебель у ствола — и вширк вместе с листьями в корзину, а потом просеивала на ветру, пересыпая из корзины в корзину, и крыжовник послушно летел в корзину, а листья относил ветром в сторону.

Приятные воспоминания, пожалуй, остались только от обеда, который в определённый час привозили на телеге прямо в поле или сад. Женщины снимали платки, рассаживались кружком на траве. Как и все, бабушка перед едой никогда не крестилась, но всегда говорила: «Ешьте с Богом». И они с Аркашей... нет, не ели, а уминали за обе щеки.

Единственное, что не упомянули старушки, так это игру в лото, во время которой все, как одна, нюхали табак. Не упомянули, видимо, по причине сомнительности, что игра эта, не говоря уж о табаке, да ещё на интерес, по копеечке, угодна Богу.

И если бы Павел не завёл речь, никто бы и не вспомнил. А оказались они на поминках, как и в детстве, за одним столом с Серёжкой и Славкой. Серёжка, само собой, приложился, Павел отговорился болезнью, Славка выдержал марку, и по этому поводу между роднёй состоялся очередной обмен мнениями:

— Славка-то наш так и не пьёт!

— Молодец, нечего сказать!

— А с другой стороны, как за баушку не выпить?

— Это поня-ятно!

— Ну, пусть земля ей будет пухом!

— И этого ещё... чтобы там не шибко ругали...

— Не за что её ругать: во до каких пор намыкалась.

— И пожила.

— Да-а. Всем бы столько.

А двоюродные братья в это время вспоминали игру в лото, сопровождаемую оглушительными чиханьями, поскольку старушки все, как одна, нюхали табак. Что ни говори, а он был сила! Засопливился, потянул пару щепоток, прочихался — и нос дышит, как у младенца, ни одна тварь не выживала, и слёзы текли ручьём.

Вспомнили, как сердились на Славку старушки, которых он обыгрывал по причине необъяснимого везения. Сначала подозревали, что на ощупь угадывает числа, и котомку с фишками отобрали. Когда же он и таким образом их несколько раз подряд обставил, заподозрили в неадекватном и до игры больше не допускали, всякий раз, когда он намыливался сесть, заявляя: «Уйди от греха. Ты мухлюешь». И сколько бы он ни божился, уверяя, что ему просто везёт, не верили. «Иди, — гнали, — к своим картёжникам, их обманывай, а нас обманывать нечего».

И тогда Славка стал вредничать: то пробку из счётчика вывернет и с ней убежит, а то возьмёт и в самый ответственный момент смахнёт со стола на пол фишки. Стали от него запираяться на крючок, так он, злодей, додумался раз через форточку запулить снегом. Пришлось пожаловаться дяде Лёве Кашадову-Шаляпину, а у того разговор короткий. Ну и что, что не педагогично, зато действенно. И вспоминали братья об этом без обиды.

Славка спросил между делом Павла:

— Помнишь, как грибы пинал?

— Это когда я из глины-то налепил и для смеху на наших местах наставил, а ты мне за это пинков надавал? Брательник, называется!

— Да чё там, глупыми были. А как рыбу корзинкой ловили, помнишь?

— Ещё бы! Особенно тритонов. И так на них жуть смотреть, а ты их нам за шиворот...

— Да-а, было дело... — Славка задумался. — Баушку, конечно, жалко, а как подумаешь... все там будем.

И тогда Павел завёл речь о том, что быть-то будем, но — где именно, вот в чём вопрос. Но Серёжка, видимо, успел разнести по родне о новом бзике писателя, поэтому разговор Славку застал во всеоружии.

— Кончай агитацию! — перебил он на полуслове. — Ладно баушка, она человек тёмный, три года цэпэша, чего с неё взять, тебя куда с писательским институтом понесло? Плохо тебе без Бога жилось? Он тебе чего дал? Здоровья и того не дал. А ты — Ра-ай! Ты его видел? С того света ещё никто не возвращался.

— А мне одна на работе рассказывала, — подхватил Серёжка, — я, говорит, раньше всю жизнь в Бога верила. А однажды попалось ей в руки Евангелие. Стала читать. Прочла одно, смотрит, а там ещё три, и все разные, да ещё разными писателями написаны. Что-то, думает, тут не то: почему не одно, а целых четыре понадобилось, и все разные? Один про одно, другой про другое пишет. Ей это показалось подозрительным, и она перестала в Бога верить.

— Чего ты несёшь, Серёга? Целых четы-ыре! Разными писателями! Напи-исаны! Не писателями, а апостолами, было бы тебе известно, очевидцами или со слов очевидцев. И никаких противоречий. Каждый из четырёх евангелистов друг дружку дополняет — только и всего, а не о разном пишут. И вообще, как ты можешь такое говорить, когда сам венчался?

— Это не я-а, это Ля-алька.

— Ага, вали на бабу, мужик!

— А вы подеритесь.

— И ты тоже хорош! Кончай агита-ацию! Плохо тебе без Бо-ога жилось! А если плохо? Да ещё как плохо-то! А как причастился!.. Нет, братишки, вы сначала попробуйте, а уже потом судите, плохо это или хорошо.

— Чего ты мне тут заливаешь? Да твои попы плешь народу проели! Я читал, знаю! Предатели и подхалимы! Царям присягали! Гришке Отре-



пьяву присягали! Пугачёву присягали! Временному правительству присягали! Советской власти, что коммунизм без них строит, и той ухитрились присягнуть! Ну? И в чём их вера? Они, значит, будут на мне ездить, а я на них, дармоедов, спину гнуть, так, что ли, получается? С какой стати я должен верить тому, чего две тысячи лет назад написано? Вот если бы я сам увидел, как они мёртвых воскрешают, больных исцеляют да по воде ходят, тогда бы другое дело. А у них один разговор: раньше были святые, мёртвых воскрешали, болезни исцеляли, по воде ходили, стены насквозь проходили, будущее предсказывали, а сами ничего не умеют. Ну, и почему раньше могли, а теперь не умеют?

— И почему же?

— А я тебе скажу! Я тебе всё скажу! Чтобы лапшу на уши вешать! Вот, дескать, какая у них вера и какие у них святые! А сами ничего не умеют, только и знают, что тёмный народ колпачить и обирать.

— Причём тут попы? Да по мне хоть сам патриарх пьяный в грязи валяйся, глазом не моргнув, перешагну!

— Чай, подымешь пьяного-то.

— Это само собой, Серёга! Не о том речь. Даже поведение патриарха, хочу сказать, от веры моей ничего не убавит. Я не для патриарха и священников верю, а для себя. Опять же — благодать... Да если бы не она, я ни минуты не колебался! Никакие книжки не убедили бы! Но благодать!.. Нет, братишки, её стоит попробовать!

— Ну всё, хватит, не маленькие, сами как-нибудь разберёмся!

На этом разговор с дальней роднёй был окончен. Теперь предстоял разговор с ближней. Но отчим был на сезоне, мать хоть и прибыла на похороны, разговора о вере не заводила. Да и некогда было. Все дни в хлопотах. Так и не поговорили тогда. Павел в тот же день укатил в деревню, надо было помогать пасти, мать через пару дней отбыла на Урал. И целое лето Павел наслаждался счастливой возможностью пожить в кругу близких по духу друзей.

Без всяких преувеличений, несмотря ни на что, то лето было особенным. И хотя каждое утро начиналось с тяжёлого подъёма — казалось, только коснулся головой подушки, а уже пора вставать, и, чтобы не проспать, поскольку будильника никто не слышал, Маша с Аней каждую ночь дежурили на кухне, — семикилометрового пути под звёздами, пастушеских приключений с туманами, гнусом на солнцепёке, грозowymi ливнями, со скудной пищей (что в сумке унесёшь?), обратного пути, когда от усталости едва влачили ноги, ужином, коротенькой беседой, во время которой кто-нибудь засыпал прямо за столом, — все, кроме избалованного московией Щёкина, вспоминали о нем с благодарностью. Впрочем, и Щёкин был обязан тому лету циклом новых песен на стихи Лермонтова, Жуковского, Баратынского, Дельвига, адмирала Шишкова, Дмитриева, Кольцова, Губера, Блока, Есенина, Цветаевой, Ахматовой...

### 3

Постой-постой, как у него там...

И, пока запирал дверь, спускался по лестнице второго этажа, нёс в темноте погружённого в глубокий сон совхоза перевязанные шпагатом книги, не мог одолеть щемящего чувства радости от воспоминания тех удивительных летних вечеров, когда, несмотря на усталость, они присаживались на крылечке впятером, а то и вшестером, если приезжала Настя, а дети спали, и, разувшись, скинув с плеч полевые сумки с плащами наперевес, созерцали закат.

Переливающееся подобно засыпающим углям в печи солнце то целиком, а то перерезанное тонким сизым облачком сначала зависало над горизонтом и казалось ниже того места, откуда они за этим чудом наблюдали. Затем опускалось ниже, ниже, присаживалось, как бы отдыхая, на край земли, и, постепенно остывая и увеличиваясь в размерах, начина-

ло погружаться за горизонт, пока не исчезало совсем, и только по разлившемуся зареву можно было догадаться, что оно ещё где-то рядом. А вскоре и румянец смывала густеющая синева. Зажигалась сначала одна, самая яркая звезда, потом вторая, поменьше, затем третья, четвёртая...

Дольше сидели редко. Надо было ужинать и ложиться, чтобы в провальном сне, дившемся мгновение, стряхнуть усталость и на подходе к деревне встретить не менее прекрасный своей первозданностью восход.

Впрочем, только первые две недели, пока приваживали стадо и подрастала трава, было тяжело, и вскоре стали пасти по двое, оставляя одного отсыпаться, помогать по хозяйству, а Щёкин даже стал ходить в луга с гитарой, довольно часто за сочинительством забывая о скотине. На пастуха с гитарой дивилась вся деревня. Да ему что? Пригнётся в какой-нибудь ложбинке — и не видать. Кликнешь: «Щёкин!» И сразу вынырнет на поверхность беленькая панамы, глаза круглые, взгляд отсутствующий: «А!» Только и остаётся махнуть рукой. А он и рад. Зато и друзей день ото дня радовал.

Пока все закатом любят, он, пригнувшись к струнам, чего-то всё перебирает, перебирает, а затем скажет: «Хотите послушать?»

И, сделав вступление, запоёт:

*Знать, солнышко утомлено:  
За горы прячется оно;  
Луч погашает за лучом  
И, алым тонким облачком  
Задержув лик усталый свой,  
Уйти готово на покой.*

И эта канувшая в невозвратимое прошлое старина, с недоступными пониманию обиходом, отношениями, чужестранной витиеватостью, становилась вполне понятной.

А в другой раз затынет:

*Там небеса и воды ясны,  
Там песни птичек сладкогласны!  
О родина! все дни твои прекрасны!  
Где б ни был я, но все с тобой  
Душой.*

И кажется, милее России для тебя ничего нет. Когда же доходило до слов:

*Ты помнишь ли наш пруд спокойный,  
И тень от ив в час полдня знойный,  
И над водой от стада гул нестройный,  
И в лоне вод, как сквозь стекло,  
И в лоне вод, как сквозь стекло,  
И в лоне вод, как сквозь стекло,  
Село?*

— казалось, это уже про ту самую деревушку, в которой пасли, пригоняя на полдни к небольшому пруду стадо, состоящее из разномастных коров, вечно грязных, в репьях, овец и чистеньких привередливых коз.

А вот песня на стихотворение Вяземского бередила уже что-то глубоко личное.

*Когда печали неотступной  
В тебе подыметя гроза  
И нехотя слезою крупной  
Твои увлажятся глаза,*

*Я в то время с наслажденьем,  
Ещё внимательней, нежней  
Любуюсь милым выраженьем  
Пригожей горести твоей.*

В такие минуты Павлу представлялась обезоруживающая Настина уступчивость — «ну разве можно с такой врединою жить?», — вгонявшая в краску забота, когда приносила таз с холодной водой, и всё, что день ото дня вязало их души в один крепкий узел.

Имелись в репертуаре песни и для детей, которые обыкновенно исполнялись хором, а то и с хороводом.

Но чаще всего просили исполнить сочинённую в середине лета песнь на стихотворение Лермонтова.

*Я, Матерь Божия, ныне с молитвою  
Пред твоим образом, ярким сиянием,  
Не о спасении, не перед битвою,  
Не с благодарностью иль покаянием,  
Не за свою моллю душу пустынную,  
За душу странника в свете безродного;  
Но я вручить хочу деву невинную  
Теплой Заступнице мира холодного.  
Окружи счастьем душу достойную;  
Дай ей спутников, полных внимания,  
Молодость светлую, старость покойную,  
Сердцу незлобному мир упования.  
Срок ли приблизится часу прощальному  
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную.  
Ты воспринять пошли к ложу печальному  
Лучшего ангела душу прекрасную.  
Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...*

Исполнение каждой новой песни сопровождалось обменом мнениями. Восхищение — само собой. Трофим, например, никогда не упускал случая высказать несколько точных замечаний. Более развернутые рассуждения на тему современной музыки, литературы, культуры вообще, откладывали до утра, вернее до стоянок или полдней. По дороге, когда шли скорым шагом, разговаривать было тяжело, да и какие со сна да ещё в четыре утра могут быть разговоры? После выгона тоже поговорить не удавалось, поскольку находились с разных сторон стада. Зато во время лежанок, когда через каждые два часа стадо укладывалось жевать, или в полдни дискуссии возникали не только по поводу щёкинских песен, но и прочитанных книг, не исключая и библейских, а то и просто от внезапно родившегося в чьей-нибудь беспокойной голове очередного неразрешимого вопроса.

Больше всех витийствовал Трофим. Павел, только что пустившийся в плавание по морю русской словесности, в основном внимал и задавал вопросы. Щёкин, по своему обыкновению, слушал, раскрыв от удивления рот.

И потом, как можно быть равнодушным, когда слышишь пробирающее до озноба: «И никто из вас, сынки, назад не воротится, а ведёт ваши полки Богородица», «Господеви поклонитесь, во дворе святем его. Спит юродивый на паперти, на него глядит звезда», «Девушка пела в церковном хоре, за всех погибших в чужом краю...», «Храм Твой, Господи, в небесах, но земля тоже твой приют...», «Проходили калики деревнями, выпивали под окнами квасу. У церкви, пред затворами древними, поклонялись Пречистому Спасу»? Всё это как будто из собственного сердца изливалось вместе с молитвой, которую Павел творил поутру лицом к востоку.

Однако не всё в рассуждениях Трофима по поводу щёкинских песен устраивало его. Многие, конечно, он принимал. И всё-таки это были песни безвозвратно минувшей эпохи, песни-призраки, хотя и милые. Павел ещё не мог этого объяснить, но определённо чувствовал, что время требовало чего-то иного, личных переживаний, что ли, пусть не таких изысканных, но всем понятных. Очевидно, время не прощает художнику измены. На то, видимо, он и призван, чтобы свидетельствовать о нём, а не лепить парафразы на темы минувших столетий. А то, что делал превозносимый до небес Трофимом Щёкин, было всего лишь для узкого круга гурманов, которые во времена развивающегося социализма немножко вообразили себя дворянами, да ещё с амбициозной замашкой на создание новой культуры. К сожалению, понял Павел это гораздо позже, когда набил шишек, после чего с трудом, внутренней ломкой стал выбираться из-под опеки высокоумного друга с дворянскими наклонностями. Тогда же...

#### 4

Так что же всё-таки было тогда?

Ну, во-первых, лето, свежее и росистое по утрам, к полудню раскалявшее воздух до невыносимого зноя, не отпускавшего до вечера. Иногда проносились грозы с короткими, явно не достаточными для урожаяев ливнями. И чтобы поправить положение, богомольные старушки ходили вокруг деревень с иконами. Раз в неделю приходилось выезжать на приём к врачу. Поскольку дореволюционные издания в областной библиотеке давали на три дня, работать с ними стало невозможно, и тогда они записались в библиотеку на центральной усадьбе колхоза, там, где была церковь, и за лето с Трофимом (Щёкин по-прежнему из прагматических соображений читал только стихи) одолели всю имеющуюся в наличии русскую и зарубежную классику. Времени для этого было более чем достаточно. К современной литературе из тех же дворянских соображений не прикасались.

Вставали за два часа до рассвета. Наскоро умывшись, одевшись, пропускали по стакану чая с бутербродами и выходили под сказочное великолепие звёздной азбуки неба. Дорога едва угадывалась под ногами. Шли скорым шагом — семь километров не шутка, и надо было поспеть вовремя.

Рассвет заставал на подходе. Сначала незаметно растворялись звёзды, открывались тёмные дали, наезженная дорога отчётливее обозначалась под ногами. Затем небо на востоке начинало светлеть. Поскольку дорога была выше горизонта, огромный малиновый шар неторопливо выкатывался из-за края земли и, обозначаясь целиком, поражал воображение, как будто это происходило в первый день творения. Дорога к деревушке шла под угор, домов из-за тумана не было видно.

Остановившись при входе в верхний порядок, Павел снимал кнут и начинал хлопать — раз, другой, третий... И каждый хлопок отзывался троекратным эхом, и это был знак — пора.

После того как отворялась первая калитка, начинался долгий пастушеский день

Коровы неторопливо выцокивали на улицу и, напутствуемые заспанными хозяйками, лениво брели вниз. Стадо постепенно умножалось, пестрело, разнообразилось козами, овцами и в конце деревни привычно сворачивало в дол, на другой стороне которого находился нижний порядок.

Туман стоял такой, что буквально в трёх шагах ничего не разглядеть, и, чтобы не растерять стадо, одному приходилось перебираться на другую сторону дола.

Молозиво держалось до конца первой лежанки, часов до девяти, после чего, постепенно редая, оседало жемчужной росой на траву, покры-

вало глянец резиновые сапоги, бисером висело на выбившихся из-под берега волосах.

Когда раскалившееся солнце наконец подъедало росу, поднимался гнус, и тогда начиналось настоящее мучение для пастухов и скотины.

Но первые часы были настоящим блаженством.

После утренней молитвы, до первой лежанки, часов до семи, Павел читал Библию. И когда укладывалось стадо, обыкновенно сходились для обмена мнениями от прочитанного или по очереди дремали, свернувшись калачиком на траве, накинув на глаза капюшон плаща и подложив под голову полевую сумку. Но чаще вели бесконечные разговоры о добре и зле, загадочности русской истории, и, конечно же, о литературе.

Особенно бередили душу Павла книги пророков, поскольку задевали самое болезненное место: желание заглянуть за завесу истории. Ни один из пророков ни о чём так не умолял Бога, как только показать, что будет «в конце времен, времени и полвремени». Да что пророки! Лихорадка эта охватывала целые народы, в том числе и Россию — в 1666, 1812, 1917, 1941-м.

А как-то самая богомольная в округе Таисия Пономарёва, у которой в былые времена старушки собирались петь Пасхальный канон, после того как увидела Павла в церкви с Дашей на руках, продавая в очередной раз козье молоко, показала огромный сундук, доверху набитый старинными книгами. Сказала: «С бывшей церкви. Хотела в нашу отнестъ, да им своих девать некуда».

Книги в основном оказались богослужебными (Минеи, Октоихи, Триоди, Часословы — короче, темный лес), но обнаружилась и парочка огромных «Четых миней» на церковно-славянском митрополита Макария.

Их Павел и взял почитать. Тогда в нём и зародилась мысль, что и в самом деле, как заметил кто-то, «писания многа, да не вся божественна суть». Впрочем, ещё до «Четых миней» нечто подобное царапало при чтении залитого кровью Ветхого завета. Похоже, тогда да и потом было не до гуманности. И язычники, и избранный народ постоянно подвергались обоюдному истреблению. Отличился в уничтожении соплеменников во время шествия по пустыне и пророк Моисей, не говоря уж о том, что жалили змеи, мучили голод, жажда, разверзалась, пожирая непокорных, земля, пока не добрались, наконец, до «Земли обетованной», в которой, однако, тут же приступили к уничтожению лишнего местного населения. Отметился в этом благочестивом занятии и пророк Илья, собственноручно зарезав и покидав в реку тела двухсот жрецов царицы Иезавели, после чего принужден был спастись бегством в пустыню, где выжил только благодаря ежедневно приносившему по куску хлеба ворону. Когда же наконец дождалась Мессии, начав с Него самого, на протяжении трёх столетий исповедников Иисуса Сладчайшего распинали, преследовали, колесовали, обезглавливали, жгли, отдавали на растерзание диким зверям или гладиаторам на аренах цирка на потеху кровожадным римлянам. Но несмотря ни на что выстояли. Христианство, наконец, утвердилось во вселенной. И что же, обрело человечество покой? Увы. И хотя прекратились Божии казни, сильные мира сего возложили эту святую обязанность на самих себя. Отныне застенки наполнились злыми еретиками, принародно сжигаемыми в великолепных аутодафе уже не за, а во имя Сладчайшего Иисуса.

Когда Павел узнал об этом, озадачился такими вопросами:

1. Не закралась ли в священное предание ошибка, впоследствии положившая основание для инквизиции и вышестоящего произвола?
2. Не запущены ли в жития святых под видом ревности по благочестию враждебно настроенными элементами истории, которые в Средние века культивировали религиозный фанатизм, а впоследствии стали причиной безверия и насмешек над религией?

3. Что имел в виду Пушкин, утверждая, что для России нет ничего опаснее печатного слова, к которому простодушный народ привык относиться как к священному писанию?

Ответа на первый вопрос он так и не добьётся, по поводу второго развяжется война с Трофимом и случится инцидент с отцом Петром, что относительно третьего — он-то как раз и ляжет во главу того, чего лучше бы не касаться. Но, как говорится, что сделано, то сделано.

Началось, правда, не с войны, а с аскетического подвига по примеру тех самых святых, житиями которых крупными корявыми буквами были исписаны страницы увесистых «Четьих миней».

Как-то во время чтения Павел задался вопросом: что нужно для того, чтобы сподобиться воскрешать мёртвых, исцелять больных, ходить по воде, читать чужие мысли, низводить дождь или водворять вёдро? А конкретнее: какое количество Иисусовых молитв с земными поклонами необходимо творить, чтобы стяжать дар прозорливости и чудотворения? Достаточно ли тех, что начал делать для успокоения совести, или довести до тысячи? И как быть с постом? Святые вон даже внимания на болезни не обращали. Заболел, умер, похоронили. Только прежде времени почему-то никто не умирал. Вот-вот, казалось бы, душа разлучится с телом, а нет, в самый последний момент обязательно кто-нибудь с того света явится и исцелит. Может, и ему так? А что, может, и ему болезнь для испытания веры послана, да он вместо того чтобы терпеть, лечиться стал? Нет, и за грехи, конечно, и в лечении, как уверяет отец Пётр, греха нет, а всё-таки надо попробовать.

И тогда под видом лечебного голодания возложил на себя сугубый пост.

Первые два дня ужасно хотелось кушать, на третий — желудок смирился, зато до невероятности обострилось обоняние. Даже от сухой корки ржаного хлеба исходило головокружительное благоухание. Съедобным стало казаться всё. Из рта, правда, стало попахивать ацетоном. И чтобы избежать токсикации, каждое утро стал делать клизмы.

На четвёртый день он перестал ощущать тяжесть тела, на пятый — заметил, что спать стал не более четырёх часов, и высыпался, на шестой — испытал чувство тревоги.

И тогда решил выйти из голодания. Начал потихоньку, с кашек. И такое сразу навалилось чувство голода, что едва удерживался, чтобы не наестись досыта. Но и потом, когда вошёл в норму, с неделю, если не больше, постоянно чего-нибудь жевал и никак не мог утолить чувство голода. И ещё одну деталь отметил: во время голодания как нечто постороннее стали восприниматься тексты, в том числе и священного писания.

После этого эксперимента положил за правило есть, как все умеренные святые, ежедневно, но не досыта. Что относительно неумеренных, с так называемыми сверхъестественными способностями, питающихся, например, сушёной травой с толчёным мрамором, в течение нескольких десятилетий дни и ночи стоявших на каменных столбах и даже — на одной ноге, стал подозревать, что его просто водят за нос. И всё-таки долго не мог по этому поводу высказаться. Когда же наконец высказался, случилась война с Трофимом, а до этого — инцидент с дьяконом, когда они с Настей незадолго до священнической Петинной хиротонии наконец попали в Лавру. Правда, начнётся всё это потом, позже, тогда же под видом благочестивого смирения Павел долгое время высказываться не решался из-за витиеватого друга с дворянскими наклонностями, не пропускавшего без ядовитого замечания ничего. Так прямо и рубил: «Учись задавать вопросы, литератор». И даже устроил однажды выволочку за то, что сгоряча обронил приехавшей в очередной раз Насте резкое слово. Произошло это на кухне, когда пили чай из самовара вприкуску с толченой с сахаром чёрной смородиной. Павел уже не помнил, по какому поводу тогда разгорячился, пытаясь доказать что-то казавшееся ему

совершенно очевидным, а Настя, принимая за фантазию, сопроводила каждое его слово хохотом, и только когда он, не выдержав, резко обронил: «Чего ты ржёшь?», ровно споткнулась. На мгновение воцарилась тишина, а затем разговор возобновился, но уже без прежней остроты. И казалось, забыли, и в первую очередь сама Настя, однако же не забыл Трофим. Стоило им оказаться в темноте кладовой, где перед пастушеством ночевали, тот сразу его отчитал.

— Тебе кажется это глупостью, а это чистота! И ты заруби себе это на носу, литератор! «Чего ты ржёшь!» Да что ты после этого написать можешь?

И с того раза, во всяком случае при посторонних, Павел ни разу не повысил голоса на жену.

В то лето произошло ещё одно знаменательное событие — они обвенчались. Венчались в той самой церквушке, в которой Петю в младенчестве крестили. До венчания как будто чего-то не хватало, после венчания сразу всё отошло. Что именно произошло, он бы не мог объяснить. Вот они одновременно ступают на белое полотенце перед аналоем, на их главы возлагают тяжёлые венцы, из серебряного ковшика дают испить кагору, смешанного с водой. Они, волнуясь, по очереди трижды делают по небольшому глотку, а затем хмельные не столько от сладкого вина, сколько от волнения, подобно лунатикам, идут за облачённым в белую парчу священником вокруг аналоя и ничего не замечают из того, что происходит вокруг. Даже когда священник забирает из их рук и задует венчальные свечи, не сразу соображают, что именно им как бы между делом обронено это пленительнейшее на свете слово «поцелуйтесь». И когда спохватываются и торопливо целуются, неслаженный хор затягивает «Многая лета».

Священник был суховатый нутром, бесцветный, гладко выбритый, коротко стриженный. Встретишься на улице и ни за что не догадаешься, что поп. Однако же кроме него, трёх стареньких певчих да такой же древней старосты поздравить было некому. И всё равно на душе было торжественно. И пока шли, взявшись за руки, к трассе, обоим казалось, что сегодня праздничный день. Холмы, перелески, дали, обилие света и под всем этим великолепием — «посередине мира — он и она, муж и жена».

Праздничный стол был скромным, но всё-таки он был. Испекли в русской печи пирог с малиной. И долго сидели за чаем, слушая сладкоголосое Романово пение...

А лето неторопливо катилось к закату, и чем ближе, тем нескончаемее казался очередной пастушеский день.

И в один из таких дней исчез Щёкин. Так-таки взял и исчез. Туда, сюда кинулись — нигде нет. И долго недоумевали, пока не обнаружили записку под подушкой: «Я уехал». Куда, зачем, надолго — Бог весть. И когда через неделю явился, выяснилось — в Московию, душеньку отвести. Прибыл весёлый, говорливый, заискивающий, с дорогой немецкой дудочкой, которую купил на последние гроши для того, чтобы играть, хотя играть на ней не умел, и все прекрасно понимали, никогда не научится. Каких только инструментов у него не было, и ни на одном он так и не выучился играть. То ли времени не хватало, то ли желание уж очень скоро проходило. Анечка с этим давно смирилась, а что до получки не на что жить, так когда это Щёкина волновало? И потом, разве он не в круту друзей? Чай, не дадут умереть с голоду.

Впрочем, всё это мелочи, поскольку в то лето ещё одно знаменательное событие произошло. Павел сподобился посещения музыки. И день промелькнул сновидением. А за ним ещё, и ещё, и ещё один... Даже Трофимово нытьё по поводу неуправленного стада не в состоянии было отвлечь от накативших переживаний. Иначе с ним произошло то, что в начале пастушества с Щёкиным, когда тот за сочинительством выпадал из действительности. Хорошо ещё, что случилось это в начале сентября,

когда для пастыбы сплошное раздолье и кто-то будто специально уютные копейки соломы по жнивью разбросал. Сиреневые дали, подёрнутые первой желтизной перелески, прохладная синева небес...

И вот что из всего этого получилось.

## 5

Павел ТАРАСОВ

### МОЗАИКА ДЕТСТВА

— Гуси-гуси!

— Га-га-га!

— Есть хотите?

— Да-да-да!

— Так летите домой!

— Серый волк под горой — не пускает нас домой!

— Так летите, как хотите, только крылья берегите!

Они вихрем несутся к спасительной черте. Девчата визжат до свертывания в мозгу.

Как правило, играют до упора, и не только в эту, но и в прятки, и в догонялки.

Прятки с догонялками начинаются считалками.

*На златом крыльце сидели  
Царь, царевич, король, королевич,  
Сапожник, портной.  
Кто  
ты  
есть  
такой?*

Или:

*Ехал грека через реку,  
видит грека — в реке рак.  
Сунул грека в реку руку,  
рак за руку грека — цап!*

Самой непонятной была эта:

*Эни, бэни, лики, паки  
Киль, буль-буль, калики, смаки.  
Экс, пэкс, рикапэкс  
Страус.*

А эта самой смешной и обидной:

*В нашей маленькой компании  
Кто-то сильно навонял.  
Раз, два, три.  
Это  
будешь,  
верно,  
ты.*

И хихикали, указывая на жертву считалки пальцем, в то время когда тот затравленно озирался.

В дождливую погоду собирались в детсадовской беседке.



*Дождик, дождик, перестань,  
Я поеду в Верестань  
Богу молиться,  
Царю поклониться.*

Или:

*Дождик, дождик, пуще,  
Дам тебе я гущи.*

А что такое, например: «Эники, бэники, ели вареники»? Или: «Аби, цараби, цараби, аби, аби»?

Если случилось поймать божью коровку, пускали по ладони и, пока насекомое перед взлётом разбегалось, приговаривали:

*Бабка коробка,  
Улети на нёбко,  
Там твои детки  
Кушают конфетки*

Или:

*Бабка коровка,  
Улети на небо,  
Принеси нам хлеба  
Чёрного и белого,  
Только не горелого.*

Дразнилки выглядели примерно таким образом:

*Акулина Рогова  
Родила безногого.  
Положила на кровать,  
Стала жо... целовать.*

И опять хихикали.

Со взрослением сочинительство переходило в область сердечную.

*Я люблю, конечно, всех,  
А Серёжу больше всех.*

\* \* \*

Лыжня волною плывёт через посадки молоденьких сосен. Снег туманно стекает с отягощённых лап. Летом ельник совершенно другой, словно с худого тела скидывали роскошную шубу. Но зимой!.. До чего же празднично зеленели на ослепительном снегу молодые сосны и ели!

И сразу приходит на память Новый год. Дед Мороз. Мешок с подарками. В бумажном пакете — мандарины, с тонкой, легко отстающей пахучей коркой, пестрота конфет, золотые медальки шоколада, сахарное печенье.

Рубиновая звезда подпирает потолок, от неё по колючим лапам стекает серебряный дождь, празднично сверкают золотые, серебряные и перламутровые игрушки, больше всего снежинок, которые накануне вырезали из бумаги всем детсадом.

Дед Мороз стучит волшебным посохом. Все встают в круг и следом за Снегурочкой запевают:

*Ма-аленькой ё-олочке хо-олодно зимо-ой.  
И-из лесу ё-олочку взя-али мы домо-ой.  
Бу-усы пове-эсили, встали в хоровод.  
Ве-эсело, ве-эсело встретим Новый го-од.*

Детсад постоянно кочевал из помещения в помещение. Одно время был во второй половине молочного цеха. Затем в здании совхозной конторы. И наконец в бывших военных казармах.

С детсадом связывало многое. Детсадовские трёхколёсные велосипеды, например, на которых выезжали гуськом, в одинаковых шапочках из искусственного меха. Песочницы с грибками. Из песка лепили мороженое. Даже пробовали его на вкус.

Второй день он не может отвести глаз от девочки с белыми бантиками на двух завёрнутых в барашки косичках, и даже мечтает о том, что, когда они станут большими, однажды придет маленький гном и, махнув волшебной палочкой, превратит их в папу и маму.

А на третий день она, заметив его внимание, начинает показывать ему язык. И ему уже ничего не остаётся, как только «завести мотоцикла: вр-р-р...», «дать газу» и «нечаянно» сбить её с ног.

Однако, вместо того чтобы сказать спасибо, что ещё не насмерть сбил, она ставит на уши весь детсад. Прибегает заведующая и, ничего не желая слушать, требует, чтобы он немедленно извинился. А за что? И он упрямо твердит одно и то же: «А чего она на дороге встала, сто раз ей, что ли, сигналить?»

И получает за это дома от матери хорошую взбучку и, стоя в углу, мечтает о том, как ещё и посильнее на неё наедет, и, так и не попросив прощения, присев на корточки, засыпает в угол.

Просыпается на кровати и, чтобы увильнуть от детсада, жалобно хлюпает носом и говорит, что у него болит животик.

Приходит тётя врач, начинает ощупывать его больной животик, при каждом нажатии спрашивая:

— Тут болит? А тут? А здесь?

Не подымая глаз, на всё он отвечал: «Да».

По очереди оттянув его нижние веки, тётя врач говорит с недоумением:

— И тут вроде всё нормально. Температуры нет, дыхание чистое, — и, подымаясь с кровати и вынимая из ушей стетоскоп, разводит руками: — Ничего не понимаю. От скопления газов, может быть. По «большому», когда ходили? — спрашивает мать. — На горшочек когда ходил? — спрашивает его.

Не глядя на тётю, он отвечает:

— Никогда.

— Выдумщик! — говорит мать, хотя сама не помнит, когда он ходил по «большому», говорит врачу: — Сегодня точно не ходил, вчера, кажется, тоже, точно не помню... В детсаде, может быть, ходил... Ходил в детсаде или нет, а ну живо говори?

— Нет.

Завершается тем, что тётя врач советует попоить укропной водичкой.

— Пусть полежит денек, а вы понаблюдайте, хуже станет, вызывайте скорую.

Однако скорая не понадобилась. Испив противной укропной воды, да ещё без сахара, он заявляет, что у него всё уже и так прошло.

— А, может, у тебя и не болело ничего?

— Болело.

— Ну смотри, если обманываешь!

И на следующий день его приводят в детсад.

— Да приболел вчера что-то, — говорит воспитательнице мать. — Вы за ним понаблюдайте, может, чего не надо на улице в рот сунул.

— Ну что вы, мы за этим следим, — уверяет воспитательница.

— Всё равно, повнимательнее посмотрите.

— Хорошо, поглядим, — и к нему: — Ну, больной, чего нос повесил, а? Ничего, сейчас мы у манной каши дадим, какао...

На девочку с тех пор он старается не смотреть, а когда случается встретиться взглядами, начинает высовывать язык, оттопыривать уши, вытаращивать глаза и страшно скалить зубы.

\* \* \*

На одной из игровых площадок детского сада они, подростки, обыкновенно катали пасхальные яйца на деньги. И однажды разодрались. Ему сильно досталось. Но не столько больно, сколько обидно было от того, что тебя при всех, под азартное улюлюканье и подзадоривание, победили, а стало быть, унизили, отчего он впервые в жизни не только не заплакал, а, специально неторопливо отряхиваясь, сплевывая вместе с землёй вязкую слюну и подшмыгивая кровавую юшку, при всех покаялся обидчику отомстить. И в тот же вечер нажаловался старшему брату. «Они там ещё? — спросил. — Пошли». Приходят. «Который? Тот? Эй ты, шкет, а ну иди сюда! Догоню, хуже будет». И когда тот с опущенной от беспомощности головой подходит, говорит младшему: «Вдарь ему! Ну чего стоишь? Он тебя бил? Вдарь!» Но он так и не смог. Казалось бы, вот-вот ударит, но как глянет на его беспомощную покорность судьбе, рука не подымается. И сколько бы ни науськивал брат, так и не смог, хотя до этого в разгоряченном воображении представлял, как будет тыкать того мордой в землю, приговаривая со злобной мстительностью: «Получил? Получил?» А ничего и не получилось.

\* \* \*

С ледяных горок катались на днищах от корзин, которые перед тем обливали водой. На санках катались тоже, но реже. Санки тяжело было таскать в гору. И, если бы не загоняли домой, никогда бы об этом не вспомнили.

А ещё зима ассоциировалась с завывающей в печи вьюгой, бабушкой, на которую их постоянно оставляли уходящие на очередную гулянку родители. У взрослых был праздник, а у них с бабушкой религиозная война. Бабушка уверяла, что Бог есть и за неверие накажет, а они издевательски хихикали: «Опиум для народа, опиум для народа...» Выходя из себя, бабушка гонялась за ними с тапочкой вокруг стола, вместо того чтобы кормить вареньем, как и подобает, судя по её рассказам, по отношению к врагам. Впрочем, не всегда они воевали. А при другой бабушке даже были тише воды, ниже травы. Потому, может быть, что всегда она только о том и заботилась, чтобы чем-нибудь вкусеньким их накормить. Кормила, да приговаривала: «Какие ж вы худенькие, ни папке, ни мамке ненужные, брошенные, сироты...» И хотя ничего такого они не чувствовали, всё это приятно было слышать от такой хлебосольной бабушки.

\* \* \*

Почему-то всегда тянуло туда, где опасно. К вырезанным бензопилой во льду квадратным полыньям небольшого естественного водоёма, например. Лёд был таким толстым, что до воды детской ручонкой едва дотянуться, а им непременно надо было в эту искусственную полынью запускать палочки, а потом, лежа на краю льда, их извлекать. И, потянувшись в очередной раз за своей, один из них в эту чёрную зыбь сорвался. Хорошо, пальтишко было вечно расстёгнутым. Оно тут же раскинулось по воде, как лист кубышки, из которого торчала коричневая шапка несчастной бестолковки. В глазах ужас. В том числе и у тех, кто на берегу. А как помочь? Только криком.

Благо проходил мимо дяденька, услышал, подошел, глянул, матерно выругался и, сбегав к сараям за палкой, с помощью её подтащил кандидата в утопленники к краю и выдернул за шиворот на берег. В первую очередь за спасение наградил утопленника увесистым пинком, спросил «чей?» и, усадив в санки, галопом помчался к дому.

Уж и ругали утопленника, и бранили, и по красной попе хлопали, и растирали водкой, а он, невзирая ни на что, победоносно шмыгал зелёными соплями и глядел козырем.

Впрочем, зелёные сопля висели у него до нижней губы и помимо простуды.

Однажды, например, он подобрал перочинный ножичек и, сразу зажалив, никому не давал даже подержать. И, подшмыгивая или слизывая вечно текущие самые зелёные и отвратительнейшие на свете сопля, часами вырезал на тополиных побегах узорчатую вязь.

\* \* \*

Каждую весну из сосновой коры вырезали кораблики, прилаживали паруса из бересты и пускали в ручеек. Сами шли вдоль берега, сопровождая и помогая преодолеть перекааты и заторы до большой воды.

Прятали в земле под осколками стекла секреты.

Охотились на майских жуков, набивая до отказа в пустые спичечные коробки и давая друг другу послушать, у кого лучше шипит радио, а потом полудохлых вываливали прямо на дорогу.

По всему лесу развешивали на берёзах бутылки. Однако собранный в них сок не был таким вкусным и сладким, как во время слизывания прямо с коры, и по большей части его просто выплескивали на землю.

Ели липовый цвет, дикарку, столбунцы, конский щавель, барашки, сосновые побеги. В качестве деликатеса, в подражание «канадцам», жевали яблочную и вишнёвую смолу.

Топили в норах мышей, набирали по целой шапке сорочьих яиц, а затем ими расстреливали друг друга, превращая одежду в какой-то ужас из текущих и засохших желтых соплей.

Выжигали сухую траву вдоль всего высокого берега безымянной речушки и в пойме.

При помощи увеличительных стекол сначала прожигали дыры на чёрных штанах или кепках, а затем увековечивали на дощечках собственные имена.

\* \* \*

Лето обычно начиналось с конюшни, с купания лошадей. Воробей, Чародей, Пылкий... Затем скотные дворы, летние пастбища, избушки, кадлы, навесы для дойки, перевёрнутые флаги, причудливая игра света и теней...

Рыбачили корзиной. Холоденькие золотые карасики, как будто заранее смилившиеся с судьбой, серебряная плотва, огрызающиеся зубастой пастью щурята, налимы, тонюсенько пищащие скользкие вьюны и до озноба мерзкие тритоны. Больше всего, конечно, было тины и водорослей. Частенько попадались как будто обугленные коряги. Чтобы не порезать ноги, обувались в старые башмаки.

\* \* \*

В совхозный сад принимались лазить задолго до сбора урожая. Начинали с так называемой скороспелки, наедаясь до оскомины, до не хочу, а на следующий день лезли опять. Их гоняли, выслеживали, даже засаживали в зад заряд с солью, которую приходилось с болями вымачивать в тазу с водой. Но даже это не останавливало, пока в одного из них не засадили заряд из крупной дроби. Был суд. Убийцу не посадили, поскольку при исполнении долга был. Однако после этого объездчиков лишили ружей, и оставленный на произвол судьбы сад постепенно стал вымирать и пустеть, пока не захирел совсем. Но и захиревший, каждую весну поражал он ослепительной белизной.

\* \* \*

Лодочная станция просуществовала недолго. Ничейное имущество совхозный оболтус беречь за семьдесят лет советской власти так и

не научился. Но даже то непродолжительное время сколько подарило счастливых минут! И когда одни устраивали морские сражения, безжалостно тараня и топя вражеские корабли, из-за которых, собственно, и прикрыли лавочку, другие — сердечные прогулки под размеренный скрип весел, заканчивающиеся либо: «вот уже не слышны в тишине шаги твои, словно не было весны, словно не было любви», либо: «обручальное кольцо, не простое украшение, двух сердец одно решение, обручальное кольцо-о-о».

## 6

Дальше, сколько ни бился, так и не смог двинуться с места, и когда в начале октября Настя приехала с известием, что дали квартиру, а Павла выписали с больничного, засел за роман, и всё оставшееся время ребята допосывали одни. Да и пасти стало намного легче. Световой, а стало быть, и пастушеский день сократился на шесть часов, исчез гнус, убрали зерновые, и теперь гоняй по жнивью от горизонта до горизонта, тогда как до этого постоянно приходилось стоять на страже посевов. Подернутые туманом дали, золото перелесков, велия тишина...

Название романа пришло сразу — «Сибирячка», а вот работа поначалу не задалась. А теперь думал, лучше бы не писать его вовсе. Кому и чего собирался этим романом доказать? Имеющим уши и не слышавшим, имеющим глаза и не видевшим? А именно это во время обсуждения и происходило. До защиты диплома оставалось полтора года, а у него не было ничего, кроме этого подражательного романа, превознесённого до небес, как и Романовы песни, всего лишь одним Трофимом. А всё потому, оказывается, что идея, выраженная в образе главной героини, «даже выше той, что в Алёше Карамазове». И какая же это идея, позвольте спросить? Но высокоумный друг уклонился от пояснений. Это и послужило в дальнейшем поводом к началу войны. Началась она в середине последнего сезона, того самого, который от звонка до звонка провели в деревне всей семьёй. Ни Калиновские, ни Щёкины на этот раз библейских прелестей вкушать не решились. Накушались, видимо, особенно Щёкин, на всю оставшуюся жизнь. И так получилось, сами же соблазнили сорваться с удобной работы и сами же бросили на произвол судьбы. До февраля, правда, Павел ещё сомневался, стоит или нет увольняться из пожарки, а в начале февраля на пробу съездил на родительском «Москвиче» в соседнее с деревней село и неожиданно подырился на хорошее стадо. До последнего не верилось, что возьмут. Собрались на перекрестии двух улиц немногословные деревенские мужики, в фуфайках, в огромных рукавицах, задрипанных ушанках и уделанных мучной пылью валенках, спросили, чего просит, поинтересовались, а совпадает ли один с таким стадом, и, получив туманный ответ, с Божье помощью, мол, с сомнением покачали головами, пошущукались и неожиданно согласились, потребовав скрепить уговор тремя поллитровками. Он тут же достал и отсчитал необходимую сумму. Поскольку был за рулём, к скреплению уговора неволить не стали, поезжай, мол, но «чтобы первого мая как штык был».

И всё-таки несмотря ни на что работа над романом была особенной. И не только потому, что появился отдельный кабинет, с огромным, во всю стену, окном, а ещё потому, наверно, что за окном стояла чудесная зима, и любящая и любимая жена была рядом, и Даша так окрепла за деревенское лето, что за всю зиму не чихнула ни разу. А ещё потому, может быть, что удалось склонить к «религиозному мракобесию партийного» Игоря Тимофеева. Крестить возил на родительском «Москвиче» в то самое село, где с Настей венчались. Сами же принесли купель из створочки, убранную на зиму за ненадобностью, натаскали из ближайшего колодца воды. Поскольку храм отапливался печами, а служили только по воскресеньям, в храме стоял волглый холод. Суховатый нутром священ-

ник, тот самый, который даже отдалённо на попа не тянул, прежде чем приступить к таинству, однако задал Игорю вопрос:

— Веруете?

— Да, — был уверенный ответ, а надо было наизусть прочесть «Символ Веры», а Игорь не знал, пришлось в качестве невольного крёстного читать Павлу, и, видимо, потому только, что знал он его назубок, крещение состоялось, и даже причастия свалившийся на шею крестничек сподобился.

Денёк выдался, на удивление, солнечный, морозный. Когда двинулись назад, припоминая первое причастие, Павел поинтересовался: «Как?» — «Ну... — уклончиво ответил Игорь, как бы опасаясь в чём-то ошибиться или неточно выразиться, — в общем-то, это состоялось...»

Рождество всем семейством провели в Лавре, вернее, у Пети с Варей, и только на службы ходили в монастырь. Варя с Настей за неделю стали как родные, и уж улыбались, и обнимались, и целовались на прощание... А вот у них с Петей вышел конфликт — из-за высказываний Василия Васильевича Розанова по поводу прогоргнувшего в Сладчайшем Иисусе мира, а вместе с ним и России, а Петя утверждал, что дело не в Иисусе, и даже не в монашестве, а в порабощении букве закона. По его мнению, буква закона или суббота, и стала одной из главных причин богоубийства и до сих пор является главной причиной распятия Христа в душах пасомых. Павел возражал, считая, что для выращивания зрелых плодов необходима соответствующая почва, что даже садовые деревья не могут расти где попало, и за ними нужен уход, а ухаживать как раз и некому, поскольку в принесении плодов очередные садовники так же не заинтересованы, как и те, что убили наследника. И когда Петя потребовал выразиться конкретнее, заявил, что, по его глубокому убеждению, самостоятельное хождение выше превозносимого до небес послушания. На это Петя не мог не возмутиться: «Как, ты против послушания? Да только на нём две тысячи лет всё и стоит!» На что получил не менее возмутительный ответ: «А не при его помощи разлагается? Я хочу сказать, при помощи послушания тем, кто сам ничего не умеет». Сгоряча даже до ереси договорились, в смысле якобы Павел до нее чуть ли не докатился, да железобетонный дьякон вовремя остановил. «На отчитку, — сказал, — тебе пора». На что Павел возразил с усмешкой: «Уж не ты ли отчитывать собираешься?» — «А что... Вот погоди, рукоположат, самолично над тобой чин совершу, хоть и не положено без благословения. — «За что же такая жертва?» — «А ты не догадываешься?» — «Я-то догадываюсь, это ты, гляжу, нет! И всегда вы так!» — «Как?» — «Только ярлыки вешать умеете, а чтобы по-человечески поговорить, так вас нет... Бесноватый, обновленец, раскольник, атеист... И на костёр, в кандалы, в ссылку, анафеме его... И ни одной, абсолютно ни одной проблемы этими изуверскими методами не решили, более того, целые революции на себя навлекли! И что? Одумались? Куда там! Народ, видите ли, им такой плохой достался! Таким умным-то, а! Это надо до такого додуматься: ни с того ни с сего без Бога жить захотел!.. Не так, хочешь сказать?» — «Я уже сказал. Отчитывать тебя пора». — «Да пошел ты, знаешь куда, со своей отчиткой!..»

Целый день не разговаривали, потом всё-таки попросили друг у друга прощения, но только за излишнюю горячность, а не за саму суть, и больше эту тему не подымали, а вскоре расстались, и Павел засел дописывать роман.

К середине марта он был завершён, за две недели напряжённого труда отпечатан на машинке под копирку в трёх экземплярах и в первых числах апреля привезен на творческий семинар в Литинститут. До обсуждения он прошел через все заинтересованные в разгроме руки, а их оказалось достаточно. Мало того, на обсуждение впервые в истории института собственной персоной заявился ректор — не старый, тот ни за что бы не пошел, а новый, недавно сменивший на посту ушедшего на покой прежнего.

Происходило это в большой аудитории, служившей залом для собраний и разных культурных мероприятий, с небольшой сценой, сохранившейся, очевидно, ещё с герценовских времен и когда-то принадлежавшей домашнему театру.

По тому, как началось обсуждение, было видно, что руководитель романа не читал, так, пробежал в некоторых местах глазами, но, видимо, и того хватило, чтобы следом за всеми на автора ополчиться. Прямо так и выразился с политически выверенным негодованием:

— Вы что, не понимаете, в какое положение меня ставите? Положим, я за свободу творчества, но не до такой же степени? И потом... о каком это Христосе вы тут всё пишете? Вы ничего, случаем, не перепутали, учебное заведение, имею в виду?..

Нечто подобное, только гораздо откровеннее и резче до этого целыми ушатами лили на горе-сочинителя со всех сторон. И в неприкрытой достоевщине, и в совершенном отсутствии реальной жизни, и даже в откровенной графомании упрекали. А Женя Максимов, красный не столько от возмущения, сколько с очередного похмелья, категорически утверждал, что образ героини взят напрокат из прошлого века, как, впрочем, и все до одной ситуации, «до блевотины», по его мнению, начинённые какими-то отвлеченными, ничего общего с проблемами современности не имеющими рассуждениями. Примерно в том же духе высказались и все остальные, даже Даня Чардымов, хотя и не так резко, заметив в конце в виде снисхождения, что на первом семинаре обсуждали повесть, которая была ровно настолько ближе к действительности и художественнее, насколько этот роман от всего этого далёк. И только одна сокурсница, поднявшись в самом конце, наперекор всему возмущенному человечеству заявила:

— Максимов думает, раз он не ходит в церковь, значит, туда не ходит никто. Для чего же тогда стоят церкви, если в них никто не ходит? А если стоят, стало быть, в них кто-то же ходит? Не пустые же они стоят? Так если Максимов там не бывает, откуда ему знать, какие там люди бывают — молодые или старые?

И в эту минуту вклинился до этого внимательно слушавший всех руководитель семинара:

— Ну всё, — оборвал он резко, — хватит!.. — И вынес своё авторитетное заключение как приговор: — Вот этим, — постучал указательным пальцем по рукописи, — таким... вы у меня не защититесь! Вы без диплома хотите выйти?.. Соберитесь давайте, соберитесь, время ещё есть... Такая биография! Любой из сидящих тут позавидовать бы мог, а вы!.. — и, повернувшись к ректору, как бы в качестве оправдания, вполголоса пробежался по армейской, заводской и сибирской Павловой эпопее, а затем к виновнику возмущения: — Неужели ничего значительного в вашей жизни не было, что вы за перелицовку девятнадцатого века в двадцатый взялись? Ещё раз повторяю, соберитесь... И заберите это... — И, брезгливо отодвинув от себя рукопись, объявил окончание творческого семинара.

Сразу зашевелились, загадели, застучали сидушками кресел, одни столпились у стола руководителя, другие пошли на выход. Павел забрал рукопись, в том числе и у тех, кто по ней устраивал разгром. И так получилось, оказался один в стороне со своим горе-романом. И вот в эту горестную минуту, проходя мимо, к нему вдруг подошел ректор, пожал руку и, сказав тихонько: «Желаю удачи», — тут же вышел.

До первой лекции по истории партии, которые читал новый ректор, Павел пребывал в недоумении, что бы это могло значить, когда наконец всё не разрешилось само собой. Он теперь уже не помнил, по какому поводу зашла речь о религии, о том самом мракобесии, с которым соответствующий документ партии призывал вести решительную борьбу, каким-то образом из хода лекции это само собой вытекло, и выглядело примерно так, что сам, дескать, ректор, атеист, зато его старушка

мать — человек глубоко верующий и хотя он не может разделять её веры, как образованный человек, и может её не уважать. И вообще, заявил, что гонениями на веру «нами был искусственно создан эффект запретного плода». Во как! Вот, значит, за что он пожал Павлу руку!

Однако это не означало, что надо и впредь лезть на рожон. Да и самому до невозможности было стыдно, что поддался на Трофимовы похвалы по поводу величия идеи, правда, пока ещё сырого романа, но что, мол, это не беда, всё это поправимо, главное — идея! А теперь и сам прекрасно видел, что не только никакой идеи, но и самой жизни в романе нет. Даже способность изображать, которой в литературном объединении с таким трудом добивался, и добился-таки, наконец, поступив в Литинститут, и за которую на первое обсуждение был выдвинут, и наслаждался от того же руководителя комплиментов, совершенно утратил. Всё куда-то разом исчезло, словно из него взяли и удалили всю его биографию, со всеми радостями и горестями, а на место неё водворили чужую, да ещё вооруженную буквой закона — это нельзя, это грех, это оскорбляет величие Божие, и прочей галиматьёй, наличие которой возмущался в житийной литературе, и в ту же охотничью яму сам же угодил. Да ещё как! Попробуй теперь выбраться!

В таком подавленном состоянии он и прибыл тогда сначала домой, а затем уехал в деревню. От автобусной остановки прежде сходил в село с известием о прибытии и договорился о времени выгона. До позднего вечера оттапливал застывший за зиму дом, вернее одну комнату, с голландкой, и всё равно к утру напрочь вытянуло тепло. На этот раз и к месту выгона ходить было недалеко. Триста метров всего вниз до трассы, пересечь её и буквально в десяти шагах начинался порядок.

Так что, как и договорились, первого мая и выгнал, хотя свежей травы ещё не было. Разве что на южном склоне холма, прикрывавшем от северных ветров село, кое-где проклевывалась, но что это для такого огромного стада? Однако хмурые деревенские мужики уперлись: «Не жаль. Пусть проветрятся. Настоялись за зиму в хлеву». И набегался Павел до изнеможения. И так практически до Дня Победы, с которого, собственно, потихоньку и стали зеленеть холмы, а там и сады окинуло лебяжьим пухом.

К середине мая отчим доставил на «Москвиче» Настю с детьми. Со старательством завязал, поскольку мать вышла на пенсию, дети определились, а двоим много ли надо?

В начале июня заскочил на такси после священнической хиротонии какой-то уж очень важный Петя и, постояв минут десять, то и дело поглядывая на стоявшее неподалёку такси, признался, что и домой буквально на день вырвался, и наконец, обняв как-то уж очень отчужденно, всё по той же, видимо, причине величия сана и святочного конфуза, старого друга, всё-таки чем-то земным проникнувшись, наконец, как бы нечаянно обронил, уже направляясь к машине: «И долго этим заниматься намерен?» И когда Павел больше по инерции, чем из необходимости, поинтересовался: «А что, есть варианты?» Как бы с намёком на что-то, ответил: «Я тебе напишу...» Но так ничего и не написал. Да Павел и не особо надеялся, думал: какие могут быть варианты, когда самого засунули, а точнее сам напросился в глухое село, можно сказать, на сухари? Поди, уже и херувимовы крылья подпустил...

Да и не об этом душа болела. Ходя за стадом, по мере того как оживала природа, потихоньку оттаивал сам. И как за спасительную соломинку сначала ухватился за «Мозаику детства», перечитал, что-то подправил, а затем взялся за переделку повести о Полине. Насте рукопись не показывал, прятал в чулане, где вешал кнут и плащ, и каждый раз, отправляясь на пастбище, забирал с собой. Заново переписав очередную страницу в пастушескую тетрадь, сжигал старую, и к середине сезона переписал и сжёг всё. Отныне героиня повести стала Таней, и это позволило от неё немного отстраниться, по-новому взглянуть и на самую ситуацию, а



затем и переписать практически заново всё. Разумеется, это был всего лишь черновой вариант, над которым надо было ещё работать и работать, пока не добьётся такой же силы изобразительности, если не как у Бунина, то хотя бы как у Дани Чардымова. Собственно, Данины опусы, хотя и на бунинские темы писаны были, до того погружали в реалии современности, что при чтении казалось, сам когда-то участником чего-то похожего был.

Приехавший в середине июня на неделю Даня размышления его по этому поводу поддержал. И этого было достаточно, чтобы сначала высокоумного друга с литературного пьедестала низложить, а затем не только без оглядки на него думать, но невзирая даже на Петю и всю эту сусальщину. Правда жизни, раз и навсегда решил для себя, и есть правда искусства. Искажение, приукрашивание с любой целью правды жизни было, по его мнению, самой отвратительнейшей, самой неприкрытой ложью, заразившей целые народы, и от которой, как от чумы, шарахается всякая живая душа, а тем более душа творческого человека.

Как же, спрашивается, тогда решился на отправку за бугор лишнего правды жизни романа? Дело в том, что это произошло ещё до разгрома на семинаре, сразу же после разговора с Трофимом: такое, дескать, у нас не напечатают, а вот там с ходу, поскольку такая идея, такая идея!..

Когда же начал от всего этого выздоравливать, подумал, и даже лучше, что не за границу, а куда следует рукопись попала. Не поймут они, что ли, там, что всё это обыкновенная студенческая галиматья?

Так и появившемуся в начале июля с домашними скорбями и масонскими выкладками Мите сказал:

— Всё, хватки мне мозги пудрить! Причём тут масоны, когда у самих сахарная пудра в головах? И вообще, кругом один елей и сахар, и все эти страхи перед масонами только для отвода глаз выдуманы, чтобы толпу вокруг парикмахеров в очередной раз объединить. Иначе овцы разбегутся и стричь себя не дадут. Не на ту область праведный гнев направляешь, Митя! Убедительнейше тебя прошу: отступишь и перестань семью мучить. То же мне, боксёр бывший! Зачем, скажи, ребят тренировать бросил? Бо-огу это не угодно! Петя, что ли, тебе сказал? Слушай его больше. Представляю, какой лапши он тебе этими протоколами масонских мудрецов на уши навешал! Запомни, Митя, Богу люди живые нужны... понимаешь?.. живые и свободные, а не твари дрожащие!

Но Митя, похоже, так ничего и не понял. И тогда для большей убедительности в очередное совместное пастушество Павел дал почитать ему начало новой повести, после чего Митя задумался. Во всяком случае на прощание сказал: «Старик, если успею, на сессию вещицу одну привезу, давно задумал, если получится, ахнешь!»

А там и Тимофеев нагрязнул. Прямо с автобуса пришел на пастбище. Было начало августа. Дни стояли солнечные, но какие-то бесцветные.

Поднявшись на холм, Игорь поздоровался, спросил с деланным задором:

— Пасешь?

— Как видишь... А ты чего?

— Да так... проведать приехал... Да, докладываю: в Литинститут опять не поступил, сочинение на трояк написал, подумал-подумал и на всё рукой махнул... У тебя как дела? Пишешь чего?

— Пытаюсь... Посмотреть хочешь?

— Покажи.

И тогда Павел достал из сумки пастушескую тетрадь.

Читал Игорь, как правило, неторопливо, Павел об этом знал и, чтобы не мешать, отошёл на некоторое расстояние, сначала присел, затем прилёг на спину, катая во рту травинку. Как и водится в таких случаях, немного волновался, видимо, не дорос ещё до уровня, когда «ты сам свой высший суд», помимо собственной оценки, нуждался пока в поддержке со стороны, да и бывает ли иначе?

Примерно через час состоялся разговор.

— Ну вот, — сказал Игорь, отдавая тетрадь, — это уже совсем другое дело.

— Ничего, говоришь?

— Считаю, от такой прозы ни один журнал не отказался бы.

Спать легли в кладовой. И пока один из них не отключился, говорили о литературе, о влиянии на неё религии и пришли к заключению, что в мире хотя и не было ни одного большого писателя, который не был бы религиозен, однако ни один из них ни в одну из конфессий не вписывается, а это, по мнению Павла, могло означать только одно: личное хождение пред Богом, очевидно, ни в какие канонические рамки не вписывается.

Но одно дело — Игорь, другое — Трофим. И когда в качестве туриста Павел на две недели вместе с семьёй в середине августа прибыл в Самару, тут-то и началось.

И началось опять же с повести, в которой по-своему выразилось очередное не верю, которое стало закрадываться в сознание ещё при чтении прошлым летом увесистых «Четых Миней», затем книг Василия Васильевича Розанова, но особенно после разгрома романа, за время самостоятельного пастушества наслоившись на множество других сомнений, которые наконец были высказаны Трофиму в лицо.

В отличие от Мити, Игоря, высокоумному другу повесть не понравилась, как выразился, из-за подросткового чувственного восприятия мира, до которого, по его мнению, опустил отечественную словесность Бунин, на самом же деле, скорее всего, потому, что была она откровенной противоположностью и даже своеобразным вызовом разбитому на семинаре роману «Сибирячка». Но поскольку Трофим об этом не упомянул, Павел высказал это сам. Трофим огрызнулся. Павел не уступил. И не только потому, чтобы заступиться за Бунина, у которого действительно многому в последнее время научился, но и за Даню Чардымова, а также за всю литературу вообще. Когда же Трофим завёл речь о канонах, которые якобы предписаны не только художнику, но и писателю, и композитору, как некое единственно верное представление о жанре, а Павел поинтересовался, и какие же это каноны, а тот ответил, что жития святых, по его мнению, дающие некоторое представление, что есть образ в искусстве, — Павла прорвало. Ну всё, хватит, не намерен он больше под предлогом страха Божия от правды жизни отворачиваться и откровенно выплеснуть всё, что по этому поводу думал, в том числе и по поводу «Четых Миней». Трофим слушал выжидающе, как перед решительным броском, не перебивая, лишь иногда задавая как бы наводящие или к чему-то подводящие и заманивающие в западню вопросы.

— И что замки, как описывается в Деяниях, сами собой с тюремных дверей спали, и что не причинил вреда спасшемуся после кораблекрушения Павлу укус ядовитой змеи, и что на разных языках в день Пятидесятницы заговорили, стало быть, не веришь тоже?

— Ну почему. Допускаю. И даже вполне. А вот что дочери Иродиады во время перехода через реку в день начавшегося ледохода сомкнувшимися льдинами шею зажало и пока не перетёрло совсем, да ещё с каким-то мстительным злорадством описывается, как она при этом в ледяной воде в память того злополучного Иродова торжества плясала, а затем какой-то дурачок, рискуя жизнью, перепрыгивая с льдины на льдину, умудрился добраться до отрезанной головы и принёс матери на блюде, — вот хоть убей, не верю.

— Не веришь, значит?

— Нет. И тому, что расступилась скала, чтобы скрыть великомученицу Варвару от преследовавшего отца, не верю тоже. Если бы ты сам такое увидел, стал бы после этого сомневаться? Образумился бы, верно? А отец Варвары даже глазом не моргнул. Поднялся на верх горы, куда чудесным образом пробралась внутри скальной тверди дочь, схватил

её за косу и поволок на казнь... И подобной чепухи в «Четых-Минях» столько, что лучше бы не читал. Тоже мне, благочестивое чтение! Да от такого чтения вера пропасть может!

— Не веришь, стало быть.

— Глупым чудесам? Нет.

— Не веришь.

— Да что ты заладил! Сам посуди. Описывается, например, как великомученица Варвара перед казнью в тюрьме в одиночестве молилась конкретными словами, и на целую страницу приводится текст из Псалтири. А теперь скажи: кто всё это видел и слышал, что именно такими, а не другими словами она молилась? Она что, специально с того света явилась, чтобы обо всём этом автору жития рассказать? Никакой достоверности! Большинство житий не выдержит даже самой беспристрастной критики. Извини, одно дело — художественное произведение, вымысел, но когда в житиях начинают писать, какими именно словами молился перед казнью тот или иной мученик, а тем более о чём наедине думал, у меня скулы начинает сводить! На сверхъестественные чудеса я давно уже рукой махнул, но когда в лодку к князю Глебу, например, вскакивает с мечом в руке убийца, а тот на протяжении целой страницы пытается убийцу вразумлять, за что, дескать, жизни меня лишить хочешь, которую мне, как и тебе, дал Господь, человек добрый, разве я не брат господину твоему, разве не сказано в Писании, не убий, и каким судом судишь, таким судим будешь?.. И всё в таком роде и говорил, и говорил минут пятнадцать, пока не перерезал ему злодей горло, как написано, «аки незлобивому агнцу». Положим, к веку Провещения глупых чудес становится меньше, отныне больше упирают на прозорливость, невидимые, но всё-таки соразмерные с человеческими возможностями подвиги, на силу молитвы, смирение, милосердие, заповедь о любви. В отличие от древних святые эти уже не поражают воображение сверхъестественными способностями, наконец-то перестают пугать возмездиями за грехи, однако неприятностями заслушания прозорливцев запугивать по-прежнему продолжают... Ну, и для чего всё это?

— Ну, допустим, хотя бы для того, чтобы преподавать церковное учение.

— Посредством небылиц? Прошу прощения, но вера в бытие Божие не обязывает меня верить сказкам. У нас ведь как? Раз уверовал в Бога, будь любезен верить и всем этим глупостям. Славка, брат, именно это мне в упрёк поставил. Почему, говорит, раньше верующие могли мёртвых воскрешать, по воде ходить, стены насквозь проходить, болезни исцелять, а теперь не могут? Только про то и твердят, какие у нас святые были, а сами ничего не умеют... С какого перепугу в сонм святых возведён был, например, равноапостольный Константин, когда предал казни сына, оклеветанного влюбленною в него мачехою, а затем испек жену в раскаленной бане, когда она ему изменила, а послушного тестя Геркулия, получившего прозвище за громадный рост, будучи недоволен им за какие-то упущения в областном управлении, вызвал ко двору и приказал удавить?.. Что, молчишь?

— Всё сказал? Я тебя не перебивал? Нет? А теперь меня послушай.

И на полчаса завёл академически выверенную, построенную на догматическом учении речь о пользе смирения, которое, по его мнению, заключается в покорном и даже благодарном отношении к текстам не только священного писания, но и священного предания, что к чтению житий нельзя подходить с современным прагматизмом, а нужно научиться лобызгать невидимую десницу Господню, которая водила пером составителя того или иного жития, что грешнику чего ни дай, он всё обратит во зло. И даже договорился до того, что такой подход ведёт к расколу.

— А я считаю, как можно скорее надо от всего этого избавляться! Да неужели же в планы Божьего домостроительства и в самом деле входит

население Царства небесного безграмотными старухами и счастливыми идиотами, которые во всю эту чепуху верят?

На что Трофим с ядовитым спокойствием заметил:

— Вполне возможно.

После такого ответа Павел не знал, на кого больше злиться, на Бога или на высокоумного друга. И впредь подобных разговоров стал избегать. Сути проблемы они не решали, зато растили к железобетонному стоику неприязнь. А этого не хотелось.

Единственный, кто поддержал его в письме, был Иннокентий. Не в том смысле, что во всём прав, а что, мол, на правильный путь встал. И лучше бы не писал ему этого, поскольку в итоге Павел докатился до того, что открыто писал всем, что перекусившиеся в красный цвет винограда точно такую же, как в житиях святых, мутату в марксистско-ленинском учении развели, чем вытравили остатки веры в коммунистическое будущее совершенно, что нынешнее Политбюро, как две капли воды, похоже на иудейский Синедрион и дореволюционный Святейший синод, со своими непогрешимыми живыми и мертвыми вождями, и так далее, и так далее, на что, собственно, и получил предостерегающий окрик от Трофима: «Тарасов, подумай о семье, о Насте! Если не прекратишь, на тебя наедет на улице грузовик!» И до целой повестки из КГБ дописался и договорился...

Да и как иначе, когда трагизм революционных бурь задевал в нём, кроме всего прочего, ещё и глубоко личное: шквал этот безжалостно смахнул со страниц истории его собственного деда, а точнее обоих — второго на подступах к Сталинграду? И если ко всему этому добавить попытку переправить с превосходящей аж самого Достоевского идеей роман за границу через жену барабанщика «Последнего шанса», за компанию с Щёкиным женившегося на американке, так вообще!.. Павел хорошо помнил, как упиралась барабанщикова жена, уверяя, что её за это из любимой страны опять в нелюбимую отослать могут, поскольку больше всего на свете обожала русскую литературу. Они с барабанщиком заседали. «Да никто ничего не узнает, и потом сама подумай, кому помогаешь — второму Достоевскому!» Пожалуй, только последнее и убедило. Но сказала: «Только после того, как прочитаю сама». И прочитала. И по прочтении, с перепугу, видимо, на другой же день «куда следуе» отнесла. Слава Богу, хватило у американской бабы ума сказать, что муж откуда-то принес, а она случайно обнаружила, прочитала, пришла в ужас и сразу принесла. Может, по этой причине следом за этим тут же ничего не последовало, и даже подзабылось, а при получении повестки тотчас всплыло в памяти и устрашающе зашевелилось в душе.

## 7

Отдохнуть практически не пришлось. Почти до утра Павел вычитывал положенное перед Причастием правило, не упустив вовсе необязательного акафиста Иисусу Сладчайшему, добавив к нему ещё и акафист «Всем скорбящим радости».

Он уже стоял на коленях, потому что не мог стоять на ногах, строчки постоянно смывали волны набегавшего сна, пару раз книга выпадала из рук, и только потому, что прежде шумно шлёпалась на пол, он просыпался и успевал схватиться за диван, чтобы не упасть. Тряс головой, чтобы стряхнуть нещадно доливший сон, ходил в ванную ополаскивать холодной водой лицо. Ничего не помогало. Как за соломинку, хватался он за длинные тексты молитв, всё прибавляя и прибавляя новые, словно собирался таким образом достать до самой преисподней, откуда ему при их помощи надлежало извлечь свою унылую душу.

И всё-таки сон оказался сильнее и страха, и молитв, поскольку в конце концов Павел с удивлением обнаружил себя сидящим на коленях и прислонившимся плечом к дивану. К коленям вверх тормашками был

прислонен упиравшийся в пол раскрытый на середине очередного акафиста молитвослов.

И первое, что насквозь пронзило, была жуть — проспал! Но это было не так, хотя времени оставалось в обрез. Наспех умывшись, одевшись, обувшись, он со всех ног кинулся к остановке, чтобы застать автобус, который отходил через каждые полчаса, и надо было успеть на ближайший, поскольку иначе не успевал на исповедь. В будний день, да ещё не в пост, причастников бывало совсем немного, для чредного священника пятнадцать, двадцать минут дел, после чего тот сразу уезжал на требы, а это, считай, всё, обязательно скажут, в другой раз приходи, хоть бы тебе и позарез надо было. Даже слушать не станут. Собственно, он им кто? Так, гастролер заезжий, поскольку то в одной, то в другой, то в третьей церкви на службах появлялся, и делал это потому лишь, что в одной церкви даже постом не допускали каждое воскресенье до причастия. Увидят и сразу: «Ты недавно причащался. Так часто нельзя». И никто из них даже бы слушать не стал, возмись он доказывать обратное, хотя бы и со ссылкой на того же Игнатия Брянчанинова, машинопись первых двух томов которого подарил Петя, а остальные в ксерокопированном виде и в собственном переплёте приобрел у Иннокентия. Вот и приходилось изворачиваться и даже ездить в Лавру, чтобы лишний раз причаститься. И по той же причине знал, что сегодня его никто не посмеет не допустить, поскольку больше месяца в Карповке не был, только бы к исповеди успеть.

К автобусной остановке подбежал в самую последнюю минуту. Автобус уже тронулся, но тут же клюнул носом, с шипом растворив передние двери: видимо, кто-то из пассажиров, либо водитель, либо кондуктор увидели сломя голову несущегося пассажира.

Уже в салоне автобуса, когда успокоилось дыхание, Павел вспомнил, отчего проснулся.

Неизвестно, как долго, но довольно отчётливо ему снилось, что его арестовывают за веру и требуют отречения. Он не соглашается, и тогда его приговаривают к расстрелу и на глазах жены и детей почему-то на телеге везут к месту казни. Настя с маленькой Любашей на руках, Даша, уцепившаяся ручонками за материнскую юбку, смотрят ему вслед с ужасом, добавляя жути к его переживаниям, что через какое-то мгновение он их больше никогда не увидит, что его сознание потухнет навсегда, вдруг, как тухнет свет, когда выключают лампочку, и всё вокруг тут же погружается во тьму. Только в его случае погружение это должно было произойти навеки. И всё это он на глазах у жены и детей обязан мужественно перенести, поскольку от того, как он это сделает, будет зависеть то, насколько правдивы были его слова о Боге, которые он с самого раннего детства говорил детям, тогда как не подкрепленные поступком, они бы совершенно ничего не значили. К мучениям о неотвратимости насильственной смерти в возрасте, когда только бы жить, примешивался ещё и страх о том, как они без него будут, что станет с ними, и вообще, смогут ли выжить, а Настя, останется ли она ему верна или из-за куска хлеба, ради детей, наконец, выйдет замуж за того, кто первый подвернётся, и ляжет с ним на тот самый диван, на котором когда-то сказала в ответ на его слова, что у них теперь много детей будет: «Да что ты! — И с облегчительным вздохом прибавила: — Даже не верится». И вот всё это в его душе сгущается вплоть до самого края могилы, до того момента, когда его спрашивают в последний раз: «Ну?» У него хватает силы не поднять головы. «Цельсь!» — и в следующее мгновение внутри него против того, что сейчас неотвратимо случится, всё возмущается и восстаёт так, что он как от молниеносного удара в грудь просыпается...

В кольце, у Северной проходной, чуть не двадцать минут дожидаясь второго автобуса и, пока тащились через виадук до Пролетарской, поворачивали на дорогу к недавно построенному Окскому мосту, неторопливо катили до следующей остановки, стояли, казалось, больше

обычного, наконец двинулись дальше, а от той, что была нужна, чуть ли не километр пешком до церкви, Павел даже в отчаянии подумал, что, видимо, всё-таки не успеть, когда стоявшая впереди, у водительской перегородки, старушка, вдруг попросила певуче-дрожащим голосом: «Сыночек, миленький, Христа ради, останови ужли на мосту, в церкву опаздываю». И чего бы не сделал ни один водитель не только для Павла, а вообще ни для кого из мужского населения страны Советов, потому что «не положено», ни минуты не сомневаясь и даже с удовольствием исполнил для женщины, которая годилась ему в бабушки, за что уж и благодарила, и благодарила она его, слезая, желая здоровья, а он ей, как будто не весть чем облагодетельствовал, в свою очередь благодарно кивал в ответ.

До тех пор пока не началась исповедь и потом, после неё, всю службу Павел молился о вразумлении, о том, что можно, а о чем нельзя на допросе говорить. Само собой, они будут запутывать, задавать провокационные вопросы и может быть, даже страшать и кричать, всё может быть, и однако же это не должно сбить его с толку, с твёрдой позиции, даже если бы это стоило ему исключения из института или отправки в психушку. Разумеется, ничего из того, что пережил во сне, с ним произойти не могут: ни отречения от веры, ни расстрелов за отказ от неё давно уже не практиковали, но определить в психушку до полного излечения вполне могли, как это случилось, например, с той самой руководительницей тайной типографии, монахиней, из-за которой погорел когда-то бывший семинарист Андрей. И долго мыкался потом в качестве псаломщика по разным сельским приходам, пока не попался архиерей, который всё-таки рискнул его рукоположить, для чего срочно пришлось делать Пашеньке предложение, а когда она отказала («и всё из-за тебя, из-за тебя, идиота!»), принять сан в качестве celibата, и где он теперь и что с ним, даже отец Петр толком сказать не мог, лишь что-то вроде, сам не поймёт, что с ним такое творится...

Слава Богу, вышедший на исповедь старенький седой священник, само собой, Николай, поскольку в Карповке по воле владыки Николая одни Николаи служили, ни слова не спросил о посте, а то бы пришлось врать, да, мол, как и положено, три дня постился, хотя некоторые настаивали на целой неделе, на что у Павла, правда, был оправдательный аргумент — недавняя болезнь, и тогда без зацепки проходило.

Батюшка молча выслушал, сердечно вздохнул, наложил епитрахиль и дрожащим не то от старости, не то волнения голосом прочёл слова разрешительной молитвы. Даже показалось, держа на главе руку, сжимал пальцами голову так, словно откуда-то пытался его вытащить. Во всяком случае, так показалось. В таком состоянии и не такое может показаться.

Наступило ли после исповеди обычное облегчение, Павел так и не понял. Наверное, всё-таки не наступило, поскольку до самого открытия перед причастием Царских врат мысли о предстоящем допросе по-прежнему одолевали.

И в таком состоянии, повторяя про себя за священником слова обычной молитвы, за жиденьким ручейком старушек он подошел к Чаше. Сколько раз уже это было, а всякий раз подходил с таким чувством, словно это происходит впервые. И, осторожно приняв частичку, поцеловал подножие Чаши, под умилительное пение «Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите», прошел назад, к заповочному столу. Взял с подноса кусочек просфоры, отправил в рот и запил сладенькой «теплой».

Сказать, что после этого полегчало, он бы тоже не мог. Некоторое бездумие, правда, на какое-то время в голове водворилось, но это могло быть и от бессонной ночи, и от усталости, и от того, что служба подошла к концу.

Во всяком случае, поцеловав крест и выйдя на обнаженный осенью церковный двор, ничего особенного, даже отдаленно напоминавшего первое причастие, Павел не почувствовал.

И в таком состоянии, казалось, уже ни о чем не думая, оттого что устал думать и по этому поводу как бы уже на всё махнул рукой, будь что будет, добрался до здания военкомата.

И, когда перед входом в военкомат, как само собой разумеющееся, машинально достал из кармана и приготовил повестку, прежде чем открыть дверь, зачем-то ещё раз её прочитал. Казалось, он знал её наизусть, но только теперь бросилось в глаза, что было написано «вам предлагается явиться» вместо обычного «вам предписывается явиться» и «в случае неявки» перечислялись соответствующие статьи Уголовного кодекса. «Предлагается и предписывается, — подумал, — пожалуй, не одно и то же. И даже отсутствием статей Уголовного кодекса различие это подтверждено».

Павел замер в нерешительности. Ещё раз внимательно прочитал повестку. Предлагается — и совершенное отсутствие статей Закона. Стало быть, от предложения можно и отказаться? Ему предлагают, он отказывается. Вот если бы обязывали, тогда бы нельзя было отказаться, не нарушив статей Уголовного кодекса, которые для того и вписывали, чтобы заранее об ответственности за необоснованный (например, захочу и не пойду в армию служить) отказ предупредить. А тут как бы предлагался выбор, участие в котором или отказ, собственно, ни к чему не обязывал.

И тогда ещё не веря в такую нечаянно представившуюся возможность, как единственно правильный в его казавшейся безвыходной ситуации выбор, Павел развернулся и сначала медленно и нерешительно, словно боясь, что наблюдавшие за ним откуда-то сверху сотрудники всемогущего ведомства его сейчас окликнут, а затем всё быстрее и решительнее пошёл прочь.

И хотя с каждым шагом прежняя смута в душе боролась с принятым решением, у него было точно такое же чувство, когда получил в газете «Автозаводец» свой первый гонорар. Так же, как и тогда, он не только никого и ничего не замечал вокруг, но и не знал, к чему всё это в итоге выведет, а на душе было так же победоносно, как если бы вместо погибшего деда он принял участие в обороне Сталинграда и чудом остался жив.

*1 января 2012 — декабрь 2014  
Никола-Погост*